
ГЛЕБ ШУЛЬПЯКОВ



БАТЮШКОВ НЕ БОЛЕН

Главы из книги

Чтобы судить вещь, а паче человека, должно его видеть со всех сторон, знать все обстоятельно, и тогда только, подумавши, решиться. Но и тогда я бы боялся суд положить. Один Тот, который выше нас, нас и рассудит.

Батюшков — Гнедичу (Хантаново, июнь 1808)

Серебряков: Утром поищи в библиотеке Батюшкова. Кажется, он есть у нас.

Чехов, «Дядя Ваня»

ЧАСТЬ I

ИЗ ДНЕВНИКА ДОКТОРА АНТОНА ДИТРИХА, 1828 г.

16 июня. Утром, около 10 часов, отправился я за больным совместно с бароном Барклай де Толли. Карета должна была дожидаться нас у подошвы горы. На дороге мы повстречали доктора Клодца, который от имени доктора Пирнитца просил нас привести карету обязательно к самым воротам дома ввиду сильного возбуждения у больного, боясь, что при спуске с горы мы легко можем натолкнуться на неприятные случайности. Простившись с Пирнитцем и его семьей, мы отправились в комнату больного с тяжелой обязанностью на плечах. Впереди шел барон, за ним: я, доктор Вейгель, служитель Яков Маевский, назначенный нам сопутствовать, сиделка Тейергорн. Больной полулежал на софе, свесив одну ногу на пол. Барон подошел к нему, обратившись к нему на французском языке. Больной ответил, что незнаком с ним и желал бы узнать, с кем имеет удовольствие говорить. Барон, назвав свой чин и фамилию, сообщил ему, что он должен отправляться на родину, прибавив, что карета уже у подъезда и вещи его уложены. «Слишком поздно, — ответил Батюшков по-французски, — я здесь уже четыре года! Конечно, я готов с удовольствием ехать!» Барон представил ему меня как его сопутника, и больной, после опроса меня, кто я такой, объявил мне, что не нуждается во враче. Русским лакеем остался доволен. Затем быстро вскочил и, бросив на пол только что взятую им летнюю фуражку, резко оттолкнул барона и меня в сторону и,

Шульпяков Глеб Юрьевич родился в 1971 году в Москве. Поэт, прозаик. Автор нескольких книг стихотворений и прозы, в том числе романа «Музей имени Данте» (М., 2013) и «Красная планета» (М., 2019). Одноактная пьеса «Батюшков не болен» напечатана в «Новом мире» (2018, № 3). Живет в Москве.

пройдя между нами, бросился ниц перед распятием, нарисованным им самим на обоях углем. Все присутствующие были поражены и глубоко тронуты. Затем, поднявшись, сел на софу и, перепутав сапоги с туфлями, встал, взял фуражку и начал спускаться с лестницы впереди нас. Во всех его движениях и словах проглядывали раздражение и еле сдерживаемая злоба. Ни малейшего проявления радости, хотя исполнялось давнишнее его желание. У дверцы кареты стоял Шмидт, его больничный служитель, Батюшков спросил его, едет ли он также вместе с ним, перекрестил его и сел в карету, которая немедленно отъехала, так как все делалось крайне поспешно! Высунув из экипажа руку, он делал такие движения назад, как будто хотел безвозвратно отстранить от себя прошлое, и все время, пока мы выезжали из ворот, кричал: «Проклятие!» Обратившись ко мне, сказал: «Советую Вам молиться Богу». Сам же он крестился без перерыва, не говоря при этом ни слова. Барон провожал нас на лошади в продолжение целого часа, затем, протянув мне руку, распростился с нами. Больной оставался покойным целый день, отвечая только на предлагаемые ему вопросы, притом кратко и совершенно серьезно. К вечеру приехали мы в Теплиц; шел сильный дождь. Я спросил его, как он хочет: остаться или же ехать дальше? «Это зависит от Вас, так как на этот счет не имею никаких фантазий», — был его ответ. Мы остались; он, как казалось, сильно истомленный, улегся на диван. От еды отказался, хотя за обедом съел только небольшой кусок черного хлеба; просил вина для мытья головы, которая у него болела. Ночью несколько раз вставал и, высунувшись из окна, молился Богу.

БРАТЯ

В 1880 году Помпей Николаевич Батюшков, младший и сводный брат поэта Константина Батюшкова, приехал в Даниловское. Это было родовое имение дворян Батюшковых. Оно находилось в пятнадцати верстах от уездного городка Устюжна Вологодской губернии. Дорога, обсаженная соснами, шла через поле и поднималась влево на холм. С переднего крыльца усадьбы открывался широкий вид на поля и перелески, которые тянулись до горизонта. До Вологды отсюда было три дня пути, до Москвы неделя, до Петербурга — две.

Дом вот уже много лет пустовал. Он был с мезонином и башенкой и с выходом на две стороны. Когда управляющий открыл ставни, Помпей увидел, что после смерти отца почти ничего не изменилось. Как и в детстве, с портретов взирали Батюшковы-предки в екатерининских париках и мундирах, а кресло в кабинете стояло так, словно отец вышел и сейчас вернется. Жизнь прошла, а вещи не изменились, только глубже спрятали свои истории.

Усадебный парк, разбитый еще пленными французами, за полвека высоко поднялся, и теперь липовые ветки почти не пропускали свет в окна. Если бы слуховая память умела воспроизводить звуки, в полумраке гостиной обязательно бы скрипнула половица и раздался голос. Но чей? Почти никого из обширной семьи Помпея не осталось в живых. Отец умер, когда мальчику исполнилось шесть лет, а матери он не помнил, она умерла раньше. Константина похоронили четверть века назад в Вологде, так и не излечив от помрачения разума. Четверо из пяти сестер Помпея тоже были в могиле, а с последней, сводной сестрой Варварой он был в давней ссоре. Самому Помпею Николаевичу перевалило за семьдесят.

Он прожил длинную жизнь и много успел по службе. Историк и этнограф, он служил в Вильно по ведомству Министерства народного просвещения, был действительным тайным советником и кавалером орденов и даже председательствовал в комиссии по достройке храма Христа Спа-

сителя. К нему обращались «Ваше Высокопревосходительство». За своего отца, обойденного по службе, он как будто наверстывал упущенное. Впереди было главное дело Помпеевой жизни. К столетнему юбилею он хотел издать собрание сочинений и писем «брата Константина», чей портрет и теперь висел в предспальне.

Существует несколько живописных изображений поэта, и все они не схожи друг с другом — как если бы художники изображали какого-то другого, каждый раз нового Батюшкова. Мы никогда не узнаем, как поэт выглядел в реальности. Однако до эпохи массовой фотографии дожил Помпей Батюшков. Есть несколько снимков, самый отчетливый из которых запечатлел его в полный рост: со шляпой и перчатками в одной руке и тростью в другой. По родственному сходству сводных братьев мы можем предположить, как выглядел сам Константин Николаевич, если мысленно переоденем Помпея в платье начала века и уберем голову по тому времени: с начесанными вперед волосами, например.

Описывая внешность Батюшкова, современники отмечали подвижность его черт. Лицо поэта моментально отражало перемену внутреннего состояния. При малом даже для того времени росте лицо Батюшкова казалось по-детски живым и обаятельным. Крючковатый нос делал его похожим на птицу. Что до Помпея, то на фотографиях мы видим лицо с тонкой, словно поджатой верхней губой и выдающимся носом. Брови резко очерчены, широкий лоб открыт, общее выражение несколько надменное, что при малом росте производит впечатление скорее комическое.

Батюшкова крестили 8 июля 1787 года. Среди прочих имен в святцах на этот день значились святые ярославские князья Василий и Константин, и это имя (Константин) откликнулось в душе Николая Львовича не только близостью соседней губернии. Крестины Помпея, например, вообще не совпадали с днем мученика Помпея. Вероятно, ответ стоит поискать на книжных полках. Любимыми книгами Николая Львовича были античные классики: поэты, историки и философы, и он мог запросто дать сыновьям имена великих правителей, о которых эти книги рассказывали. Ничего удивительного здесь, кажется, не было; придворный поэт Петров назвал сына Язоном, бывали и другие случаи. Традицию эту впоследствии высмеял Гоголь.

Античными именами Николай Львович как бы напутствовал детей в большое плавание. Помпею, действительно, это плавание удалось осуществить, а старший Константин считал себя неудачником. В его болезненном рассудке это предубеждение принимало обратный характер; он часто требовал высоких почестей и на вопрос, зачем ему в храм, говорил: «Чтобы посмотреть, как молятся мне». Батюшков не мог не знать, что его тезку императора Константина Великого объявили богом еще при жизни.

В собрание сочинений, которое задумал к юбилею брата Помпей, он хотел включить не только стихи и письма Константина, но и биографический очерк. Его взялся написать историк литературы Леонид Майков, младший брат поэта Аполлона Майкова. Однако материала, тщательно собранного Помпеем и отосланного (с пометками и комментариями) Майкову, оказалось так много, что очерк перерос в исследование. В трехтомнике это исследование займет чуть ли не целую книгу. На долгое время текст Майкова станет хрестоматией по истории жизни Батюшкова. Эта книга и сейчас выходит отдельными изданиями.

Помпей хотел разместить в собрании и очерк болезни своего брата. Он заказал его сослуживцу по Вильно, педагогу Николаю Новикову. Однако тот погрузился в дело с таким энтузиазмом, что очерк тоже перерос в трактат. Взяв за основу дневники доктора Дитриха, который пользовал Батюшкова на пути из Саксонии в Россию (а потом и в Москве), — Новиков чуть ли не впервые в истории литературы попытался увязать болезнь с творчеством; то, как навязчивая идея, например, может обуславливать образный ряд и

самый ход мысли; как творчество превращается в орудие борьбы с раздвоением личности; как оно это раздвоение до поры до времени отражает.

Все эти размышления, иногда слишком прямолинейные, хоть и перекликались с эпохой декаданса с его страстью к темной стороне личности, но для Помпея, человека другого времени и понятий, были неприемлемы, особенно в юбилейном трехтомнике. Он отказался от его печатания. Он посчитал подобную связь поэзии и болезни вульгарной. Вместо трехсотстраничного новиковского опуса он решил дать дневниковую заметку доктора.

До наших дней сохранился удивительный документ, с помощью которого можно было бы восстановить усадьбу Даниловское какой она была в XVIII веке, — восстановить вплоть до чепчиков и чайных ложек. Это описание имущества, составленная дедом поэта. О Льве Андреевиче Батюшкове известно немного. При Елизавете он участвовал в турецком и очаковском походах, воевал в Швеции и Финляндии, а в семидесятых годах недолго побыл предводителем дворянства Устюжско-Железопольского уезда. Судя по письмам сыну Николаю, нрав Льва Андреевича соответствовал слогу («Ежелиже неисполнит моего повеления, то поеду в скорости сам в Петербург, и когда ево тут найдю, то приезд мой будет к ево несчастию»).

Этот самый Лев Андреевич, удалясь на покой в Даниловское, зажил помещичьей жизнью. Ее материальная сторона отразилась в описи. Это настоящий памятник быту классической русской усадьбы помещика средней руки. Дед поэта был хваткий хозяйственник и сутяга, «приращивающий» земли, и к моменту рождения внука Константина владел 342 душами мужского и 327 женского пола. Опись он выслал сыновьям для раздела имущества, если таковое потребуется. Как истинный помещик, он больше пекся о будущем, чем о настоящем.

Большая часть вещей из описи сохранялась в доме довольно долгое время, а кое-что и сейчас окружало Помпея. Среди этих предметов Помпей провел детство, пока не умерла мать, а потом отец. В письмах к старшим сестрам поэт Батюшков называл осиротевшего мальчика «нашим маленьким». Сам он остался без матери примерно в том же, что и Помпей, возрасте. Кроме сводных сестер и брата и единокровной сестры Юлии у Помпея никого не было.

Помпей помнил их первую встречу. К старшему брату он относился, надо полагать, с благоговением (воин, литератор) — но белокурый, небольшого роста человек, поднявшийся навстречу из-за отцовского стола, мало напоминал военного офицера. Он был похож на отца. Возможно, два эти образа, отца и брата, слились в сознании мальчика, тем более что Помпей годился Константину в сыновья. Однако настоящей близости между братьями не было, да и виделись они редко. Батюшков оплачивал Помпею пансион и регулярно справлялся о нем (всегда с нежностью) в письмах к сестрам. На этом его «отцовское» покровительство заканчивалось. Только когда придет время канонизации Батюшкова-поэта, когда его объявят предтечей Пушкина, Помпей «сочинит» этот образ — старшего брата-отца и покровителя — для утверждения уже собственной легенды.

Дед Батюшковых Лев Андреевич был педантом, и это хорошо видно по «статьям» описи. Их семнадцать, и каждая посвящена той или иной сфере материальной жизни в Даниловском. Благодаря этому документу мы знаем, что носили Батюшковы-помещики, каким иконам молились и какие книги читали, на чем готовили и ели, в чем и на чем спали, что запрягали зимой и летом, и чем запрягаемое чинили, и как звали тех, кто чинит, и тех, кто запрягает. Учтено было все до последнего ухвата и «молошника» — мы даже знаем, сколько «водочных кубиков» (самогонных аппаратов) имелось в Даниловском. Описание одних только рюмок занимает в описи полстраницы («Рюмочка с золотом водочная, одна. С цветами рюмочка, одна. Полированных малых, две. Толстых с каемочками водочных, три; да разбито три.

Другого манеру с цветами малая водочная одна. Винных рюмок с цветами одиннадцать. Гладких к столу винных одиннадцать. Для наливки гладких малых двадцать одна. С цветами малых для наливки рюмочек, две. Блюдечек хрустальных для закусок разных шесть; в тем числе склеенное одно»). Иногда описание сопровождается пометкой, которая на мгновение приводит картинку в движение: «На заячьем меху одеял два, из них Александре Григорьевне отдано одно». Из небытия извлечены даже несуществующие вещи, например, «сорочка галанская», пущенная на галстуки, или шпага, «украденная Омельяном».

До открытия уральских месторождений, до XVIII века, из болотной руды вокруг Устюжны добывали железо; Петр I метал в шведов ядра, отлитые на здешних заводиках; здесь жили гвоздари, котельники, сковородочники, замочники, угольники и т. д. Шпагу, украденную Омельяном, можно было продать кому-нибудь из них, тем более что ходили из Даниловского в Устюжну одним днем. Судьба Омельяна могла бы много сказать о характере Льва Андреевича. За «предерзостный поступок» он был вправе наказать холопа не только плетью или розгами, но даже сослать в Сибирь. Эта возможность появилась у поместных дворян еще при Елизавете. Принимая ссыльных на казенные земли за Уралом, государство получало дармовую рабочую силу, а помещику взамен сосланного давалась рекрутская квитанция, освобождавшая годного к службе крепостного от воинской повинности. Решение о степени вины и форме наказания принимал помещик. С помощью квитанции он мог освободить хорошего работника от армии, то есть сослать в обмен на белый билет увечных, нетрудоспособных (и ни в чем не виновных) людей.

Все в порядке было в усадьбе и с книгами. Помимо уставов военных и купеческих, и атласов, и лечебников, и Евангелий, в библиотеке Льва Андреевича имелись сочинения Марка Аврелия, Квинта Курция, басни Эзопа и «Сократово учение», а также «Жиль Блас» Лесажа и оды Ломоносова. Список хоть и небольшой, и пестрый, но для вологодской глухомани, видимо, выдающийся. Чтение и вообще было главным источником самых общих знаний о мире и человеке, особенно в провинции. Какие книги окружали помещного дворянина в усадьбе, таким он и вырастал. Будущий адмирал и академик Шишков, например, воспитывался на книгах церковных, вследствие чего рассматривал судьбу русской литературы сквозь призму церковно-славянского языка и даже создал лингвистическую теорию — любопытную, но ошибочную.

Были среди вещей и диковинные, например, турецкие удила и казан, который отец Льва Андреевича, прадед поэта, захватил в Очаковском сражении (1737). Казан служил янычарам не только общим котлом, но и чем-то вроде военно-полевого талисмана. Потерять казан означало потерять военную честь и доблесть. А теперь даниловские нагревали в нем воду в бане для мытья и стирки. Некоторые из предметов взяли с собой сестры Варвара и Александра, отселяясь от отца, когда он снова женился, в другое имение. Что-то ушло в приданое старшей Анне, венчанной здесь же, в Даниловском, с помещиком Абрамом Гревенсом. Некоторые вещи составили обстановку Даниловского уже в новое время — например, вот этот ящик под шкафом.

Среди дворовых ходили слухи, что в «гробике» лежит черная нога и что по ночам она ходит по дому. Это был протез Помпеева тестя. В сражении с наполеоновской армией под Кульмом (1813) Николаю Кривцову оторвало ядром ногу, и остаток жизни он проходил на голландском протезе. Его дочь Софья, выйдя замуж за Помпея, после смерти отца не пожелала расстаться с протезом, так он оказался в Даниловском. Возможно, в сознании Помпея эта «нога» как-то увязывалась со старшим братом Константином — поэт Батюшков участвовал в той же военной кампании, что и Кривцов, хотя и не был ранен.

Для маленького Помпея война была законченным прошлым, и костыль с протезом, которые хранились за шкафом, были частью его легенды. На этом костыле брат Константин вернулся в Даниловское из другого военного похода. Свою боевую отметину он получил на несколько лет раньше Помпеева тестя: в сражении под Гейльсбергом (1807), когда Наполеон громил коалицию. От ранения Батюшков оправился, но ревматические боли не давали ему покоя весь остаток жизни. В больном рассудке он часто разговаривал со своей ногой и даже писал ей стихи.

Чтение книг создавало в уме образы, мало совместимые с миром провинциальной усадьбы. Взгляд, поднятый от страницы «Метаморфоз» Овидия, блуждал по заснеженному полю и упирался в лес. Вот села на ветку галка, и столбик снега упал на сугроб. Вот со двора понесли рогожи. Мелодия чужого языка переплеталась с пением крепостных девок. Рассуждая о батюшковских «Опытах в стихах и прозе», Пушкин скажет, что у того «слишком явное смешение древних обычаев мифологических с обычаями жителя подмосковной деревни». Но таков и был путь русской поэзии — к реальной, а не условной жизни, намеченный еще Державиным, продолженный Батюшковым, но до конца пройденный лишь самим Пушкиным.

Могилы Батюшковых-предков находились в дальнем конце парка — там, где рельеф идет на подъем и резко обрывается к дороге. И прадед, и дед, и отец, и мать Помпея упокоились вокруг большого храма на этом всхолмьи. Двадцать лет назад Помпей планировал перенести сюда из Вологды прах старшего брата и даже добился разрешения властей на перезахоронение. Это было бы данью дворянской традиции, чтобы сыновья лежали рядом с отцами. Но всполошилась сводная сестра Варвара. Она была категорически против того, чтобы останки ее брата переместились в Даниловское. Она написала письмо министру внутренних дел Валуеву с просьбой приостановить перезахоронение. Во-первых, она была оскорблена тем, что Помпей не поставил ее в известность о своих намерениях. Во-вторых, поэт завещал похоронить его в Спасо-Прилуцком монастыре Вологды; в-третьих, в свое время Помпей не принял участия в обустройстве могилы брата и памятника на ней и не имел, по мнению Варвары Николаевны, морального права распоряжаться останками. В-четвертых, Даниловское в ее сознании было давно и прочно связано с новой семьей отца и его детьми от второго брака; она не хотела возвращаться туда, пусть даже и на могилы. В Рукописном отделе Российской национальной библиотеки хранится черновик письма, которое по просьбе Помпея написала Варваре его жена Софья (сам он починовничьи устранился). По тону этого «оправдательного письма» видно, насколько холодны стали их отношения. История с перезахоронением расстроила их. Помпей и сейчас, двадцать лет спустя, чувствовал себя уязвленным. Трехтомник брата, который он задумал, мог бы снова возвысить Его Высокопревосходительство. Он не мог предположить, что и храм, и могилы предков через каких-нибудь полвека без следа сгинут, а строчка поэта Батюшкова («Минутны странники, мы ходим по гробам») превратится из метафоры в реальность.

ОТЦЫ И ДЕТИ

Константину Батюшкову было шесть лет, когда у его матери обнаружили признаки помешательства. Отец повез ее из Вятки, где служил, к врачам в Петербург, но лечение не помогло, и в 1795-м Александра Григорьевна скончалась. С четырьмя дочерьми и сыном на руках, с огромными долгами за лечение — Николай Львович остался в Петербурге один. Он проживет в этом городе два года. Все это время он будет вести бесконечную борьбу с безденежьем. Чтобы покрыть проценты по долгам и оплатить пансион дочерям (Елизавете, Александре и Анне), он просит в Государ-

ственным заемном банке деньги под залог имений покойной жены. Банк с ответом затягивает. Николай Львович ждет не только ответа из банка, но и повышения в чине, которое давно вышло. Он хочет служить в столице, и новый чин увеличивает шансы на хорошую должность. Но Екатерина II не подписывает указ. Батюшков остается надворным советником, его явно обходят чином. Смерть Екатерины (1796) дает новую надежду, но хватит ли денег ждать, и сколько? Никто не знает. Девятилетний Батюшков мог хорошо запомнить отца именно в то время, в Петербурге они жили под одной крышей. Ему сорок пять, он вдовец, детям нужна учеба, а время и деньги утекают в песок. Николай Львович живет в страхе, что надежды не оправдаются. В его возрасте подобное «искание» унизительно и действует изматывающе. Вся надежда теперь только на нового императора. Многим тогда кажется, что с воцарением Павла судьба страны и людей переменится.

Как только Павел взошел на престол, Николай Львович подает прошение. Он просит императора о помощи, но не себе, а малолетним детям Константину и Варваре. Он пишет, что «не в состоянии воспитать пристойным образом» детей из-за «бедственного положения». Но ответа нет, деньги за обучение надо изыскивать самостоятельно. Генерал-прокурор А. Н. Самойлов обещает место советника в одном из столичных банков, но назначения тоже нет, а долги растут. Издержки столичной жизни не покрываются доходами от имений. К этому времени относятся увещательные письма от отца с требованием немедленного отъезда Николая Львовича в Даниловское «с большими тремя дочерьми». Но сын все не едет. Только в 1797 году Николай Львович получает наконец своего коллежского советника — чин, который обычно выслуживали к тридцати годам. Но хоть и обращаются теперь к Николаю Львовичу «ваше высокоблагородие», хоть и полагается ему годовой пансион в двести рублей с копейками — в его судьбе это ничего не меняет. Получив чин, но так и не получив должности, он принимает окончательное решение. Он отдает Константина и Варвару в пансион и уезжает к отцу в деревню. Теперь только письма связывают его с детьми и внешним миром.

Если верно, что человек исповедует то, в чем испытывал недостаток, то вся философия Батюшкова (о пользе родительского тепла и домашнего воспитания) кричит о том, что ни того, ни другого поэт не получил. То, что отец это чувствовал, мы слышим в письмах. Стиль писем неровный, дерганый. С одной стороны, Николай Львович пытается следовать дворянским традициям и выдерживает суровый назидательный тон. С другой, он понимает, что не вправе так разговаривать с сыном, для которого не сделал всего, что мог бы. Через эпистолярные штампы того времени мы слышим голос человека, который измучен и собственной виной, и тем, что не в состоянии ничего исправить. Но постепенно тон этих писем меняется. После возвращения Батюшкова с войны Николай Львович все чаще говорит с сыном как с другом и единомышленником. Страстью, сблизившей отца и сына, во все годы была литература. Оба они были читатели. В разные годы в разных письмах, которых дошло до нас, увы, мало, речь почти всегда заходит о книгах, нужду в которых Николай Львович имеет в деревне. Он любит иллюстрировать свои горестные мысли цитатами. «Все минется, мой друг, — пишет он, — и минется скоро. Надобно уметь сносить с терпением возлагаемое Святым провидением. Оно тяжко и несносно чувствительным сердцам. Но что же делать, надобно почаще читать сии Гомеровы стихи:

Мы листьям древес подобны бытием.
Одни из них падут от ветра сотрясенны,
Другие вместо их явятся возрожденны,
Когда весна живет подсолнечну собой.
Так мы: один умрет, рождается другой».

Когда Николай Львович узнает о литературных успехах сына, он не скрывает волнения: «Читал, мой друг, твои „Воспоминания“, читал и плакал от радости и восхищения, что имею такого сына».

В том, что его обошли по службе, Николай Львович усмотрел эхо давней истории. Она вводила в прошлое семьи Батюшковых. Чтобы оплатить долги, сделанные в Петербурге, Николай Львович продал доставшийся ему от отца каменный дом с садом в селе Тухани Бежецкого уезда. С ним была связана мрачная история, которой мнительный отец поэта часто приписывал свои жизненные неудачи. История эта случилась в начале правления Екатерины Великой. В глазах большей части провинциального дворянства, не имевшего прямых выгод от дворцового переворота 1762 года, Екатерина была самозванкой. Она не могла не знать об этих «мнениях». То, насколько щепетильной императрица была в этом вопросе, нам известно по воспоминаниям графа Румянцева, который, например, писал, что Екатерина «с вниманием относилась к оппозиционным настроениям даже среди нескольких пожилых дам». В другом анекдоте, который Пушкин приводит в «Table Talk», речь идет об угрозах расправы над князем Александром Хованским, который «язвительно поносил Екатерину». Чтобы остановить дерзкого князя, Екатерина пишет генерал-губернатору Москвы, чтобы тот внушил Хованскому «все мои учреждения и всех моих поступков не толковать злодейской дерзостью», иначе «он доведет себя до такого края, где и ворон костей не сыщет». Тогда, в 1766 году, князь отделался легким испугом, но уже через три года императрица показала, на что действительно способна. В полной мере ее жестокая подозрительность отпечаталась на судьбе Ильи Андреевича Батюшкова, родного дяди Николая Львовича. Этот Илья Андреевич (брат Льва Андреевича) как раз и жил в имении Тухани. Он был человеком с богатым и подвижным воображением. В провинциальной глуши, отягченная пьянством, фантазия его приняла болезненные формы. Он решил, что его сосед и собутыльник, помещик Ипполит Опочинин, — не кто иной, как сын покойной императрицы Елизаветы и английского короля Георга; внук Петра Первого и законный наследник престола то есть.

Илья не только поверил в эту опасную фантазию, он убедил в ней несчастного соседа Опочинина. Тот случайно проговорился; «заговор» раскрыли по доносу; в Устюжну выдвинулась государственная комиссия во главе с обер-прокурором Сената Всевожским. Илью Андреевича пытали, но даже тогда он не смог показать ничего вразумительного. Было ясно, что «заговор» есть плод белогорячечной фантазии провинциального помещика. Однако дать обратный ход делу о «государственном перевороте» было уже невозможно, и «левиафан» сожрал бедного Илью Андреевича без остатка. Он был сослан именно туда, «где ворон костей не сыщет», — в Сибирь. Племянника-подростка, будущего отца поэта, который на беду гостил тогда у дяди, запугали, чтобы он ни рассказывать, ни думать не смел об услышанном. С тех пор, считал Николай Львович, их фамилия оставалась у Екатерины на плохом счету. Даже под конец жизни она не считала Батюшковых благонадежными. Несчастного Илью помиловали только при Павле, но посланные в Сибирь вернулись ни с чем: Илья Андреевич в Сибири обнаружен не был. И вот эти Тухани ушли за пятнадцать тысяч. Николай Львович словно хотел избавиться от кошмара, который столько лет преследовал его.

Подобно своему двоюродному деду, поэт Батюшков тоже поверит в то, что выдумает. Мысль о царской немилости разрастется в идею о собственной экзистенциальной ненужности — Батюшкова поэта и человека. Первые годы взрослой жизни он еще пытается переломить «злой рок», сыграть за несколькими столами (карьера, семья, дружба, творчество). Но ставки одна за другой проигрывают. От невозможности выстроить жизнь так, как ему хочется, а не так, как она сама скла-

дывается, у него начнутся депрессии, сменяемые манией преследования. Его отец будет вспоминать в письмах несчастного Иова — Батюшков напишет, что «всех нас гонит какой-нибудь мстительный бог». Постепенно он утвердится в мыслях о собственной отверженности, и убеждение это определит не только характер поэта, но и его судьбу. Вызванная к жизни болезненным воображением, идея разбудит дремавшую в Батюшкове болезнь. Сознание поэта не только определит бытие, но со временем полностью подчинит его себе.

Должность, в которой находился отец Батюшкова до болезни жены и финансового краха, была прокурорской. Он служил в городском магистрате, где велись дела горожан. Судя по послужному списку, Николай Львович был вполне успешен в этой должности и даже имел награды. Но никакой любви к тому, чем он занимался, не испытывал («Коль несносно читать, а иногда и подписывать: высечь его кнутом, вырвать ноздри, послать на каторгу — а за что и почто, Бог ведает»). Он занимал нелюбимую должность все восьмидесятые годы — то в Великом Устюге, то в Ярославле, то в Вятке. Он служил верой и правдой, о чем сам напомнил императору Павлу, когда просил о помощи. По его подсчетам, одних недоимок с его помощью вернулось в казну на десятки тысяч.

Честный чиновник и порядочный человек, да еще в провинции на такой «взяточной» должности, как прокурорская, был белой вороной. Возможно, его и переводили-то с места на место, лишь бы поскорее избавиться. Он же все время просил только об одном, чтобы служить поближе к своим именьям; в Вологде то есть. Но пути чиновничьих решений неисповедимы, и Николай Львович годами кочевал по городам севера в надежде получить обещанное. Пока наконец не освободилось место в родной Вологде, где в 1787 году и родился его первенец Константин Батюшков.

За шесть лет до рождения сына Николай Львович оказался в Великом Устюге (1781), куда его направили на должность прокурора губернского магистрата. Это было его первое после выхода из военной службы гражданское назначение. Мы находим его в этом городе женатым на Александре Григорьевне, урожденной Бердяевой, небедной владелице вологодских и ярославских имений. К этому времени он — отец Анны (1780) и Елизаветы (1782). В Великом Устюге у Батюшковых рождается третий ребенок — дочь, названная в честь матери Александрой (1783).

Три сестры: классическая прелюдия к появлению первенца.

Если Вологда считалась центром северных земель, то Устюг считался глухим углом точно. До губернской Вологды отсюда было почти пятьсот километров. Когда-то богатейший город в устье Юга (отсюда и название), на пересечении торговых путей Европы и Азии — после выхода России на Балтику он почти полностью утратил свое торговое значение. Многочисленные монастыри и храмы, выстроенные и изукрашенные богатыми купцами прошлых веков, сегодня напоминают о славной истории, но уже тогда подчеркивали обочину, на которой оказался город. От Батюшковых в Устюге останутся записи в исповедных ведомостях, которые велись при храмах, и несколько строк из писем, из которых следовало, что в этом городе семейство Николая Львовича пережило «великий пожар» и эпидемию простудной лихорадки. Катание по воде (а в Устюге живописно сходятся Сухона и Юг) и крестные ходы были едва ли не единственными развлечениями семейства Батюшковых.

В Устюг Николай Львович отправлялся с условием прослужить без перевода не менее пяти лет, однако уже через три с половиной года коллежского асессора Батюшкова неожиданно назначают в Ярославль. Единственным обнаруженным следом, оставленным Николаем Львовичем в этом городе, будет его имя в «Списке благотворителей Ярославского дома призрения ближнего». Уже через год (1786) он прибудет в Вологду на должность про-

курора. К этому времени Александра Григорьевна будет носить первенца на четвертом месяце. Первым установленным адресом поэта в городе станет церковь великомученицы Екатерины во Фроловке, прихожанами которой были его родители. Константина крестили именно в этом храме.

Деревни и имения, которыми владели Батюшковы, были раскиданы в радиусе 200 — 300 километров от Вологды. До Даниловского с дедовским казаном и удилами, например, — два дня дороги. Исследователи жизни Батюшкова много писали о тепличных условиях детства будущего поэта. Считалось, что, пока Николай Львович менял место службы и жительства, — мальчик находился в родных пенатах под присмотром деда. Стихи, написанные поэтом, как будто подтверждают это идиллическое предположение. Однако повторимся: если человек исповедует то, в чем испытывал недостаток, то вся философия Батюшкова (о пользе родительского тепла и домашнего воспитания) кричит о том, что ничего этого у поэта не было. Образы отчего дома в стихах замещали его отсутствие в реальности. Взгляд, поднятый от страницы Овидия, видел сороку на ветке, но столбик снега падал на мостовую столичного города. Это было окно пансиона, а не усадьбы. Абберациями подобного рода будут полны стихи поэта. В Вологде маленький Батюшков проведет только раннее детство. Вряд ли это время отложится в его памяти.

Вряд ли он запомнил и Вятку, куда неожиданно перевели Николая Львовича. Существует предположение, что отец поэта попросился в Вятку сам — чтобы новой обстановкой смягчить болезнь жены, чьи признаки уже всерьез проявили себя. А заодно удалить ее от детей. Но в исповедных списках Вятки он числится вместе с младшими детьми Варварой и Константином, а это значит, что никакого безоблачного детства ни в Вологде, ни в Даниловском у будущего поэта не было. Младшие дети почти все время находились при родителях. Болезнь матери развивалась у них на глазах.

В Вятке Николай Львович становится кавалером ордена Святого Владимира IV степени за «соблюдение казенного интереса при подрядах и откупках», а также «открытие» «непозволенного употребления частными людьми казенных лесов». Он подумывает осесть здесь надолго и даже просится в отпуск, чтобы забрать из петербургского пансиона старших дочерей. Однако в отпуск он отправится по другой причине. В Вятке состояние Александры Григорьевны только ухудшится, и вместе с детьми и больной женой Николай Львович вынужден будет ехать в далекий Петербург. Если правда, что любовь проявляет себя в поступках, то последующий год жизни Николая Львовича будет этому подтверждением — за излечение Александры Григорьевны он будет сражаться до последней надежды. Но чуда не произойдет, медицина и в столице окажется бессильной. В 1795 году Александра Григорьевна скончается и будет похоронена на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. Могилу ее и сегодня можно увидеть среди надгробий некрополя XVIII века.

В пансионах, в которых с 1797 года будет жить осиротевший Константин Батюшков, он проведет несколько лет. Выйдя, он останется служить в Петербурге и будет жить у родственников, пока не сбежит на войну, и раненый вернется в Даниловское только в 1808 году — и только затем, чтобы вскоре уехать, ведь его отец женился и старшим детям нет места в одном доме с мачехой.

Все стихи Батюшкова о родных пенатах — это разговор о том, чего не было. В реальности поэт с раннего детства кочевал и странствовал по чужим углам и квартирам вместе с родителями, а в Даниловском бывал только наездами и по причинам чаще безрадостным. Он почти не помнил мать, а отца больше знал по письмам, которые получал в пансионе. За свою взрослую жизнь он так и не обзавелся собственным домом; его «пенатами» стала усадьба сестер в Хантанове. Пансионы Жакино и Трипо-

ли, дом дяди, родной, но все же не собственный, имение, где хозяевами были сестры, трактиры и жилища друзей в столицах, и казенные квартиры на службе в Петербурге, Риме и Неаполе, и военные лагеря и квартиры — Батюшков никогда не жил своей семьей и домом, своим очагом. Следует всегда помнить при разговоре о нем, что все в его жизни будет временным, чужим и случайным; везде он будет проездом. Всю жизнь тянувшийся к семейным и домовитым (Муравьевы, Оленины, Карамзины), он лучше почувствует таких же, как он, бездомных и рано осиротевших (Пнин, Радищев, Гнедич) — словно подтверждая слова вольтера Задига: «...двое несчастных — как два слабых дерева, которые, опираясь друг на друга, противостоят буре».

После смерти жены Николай Львович еще два года проживет в Петербурге. Он поступит в Комиссию для составления законов Российской империи сочинителем «сверх комплекта». Должность, не предусматривавшая жалования, бралась единственно для начисления стажа в ожидании нужной вакансии. Но вакансии в Петербурге все не было, обещания сановников оказались напрасными. К тому же Николая Львовича неожиданно вызвали в Вятку, где открылись служебные преступления и требовалось его свидетельство. С воцарением Павла страна ждала перемен к лучшему, а Николая Львовича преследовали призраки прошлого. В чине коллежского советника, пожалованном наконец Павлом, этот вдовый, отчаявшийся и почти разоренный человек, чудом отбоярившийся от поездки в Вятку, удаляется к отцу в Даниловское. В отставку он выйдет только в 1815 году. Почти двадцать лет он проведет в ожидании, что понадобится царю и отечеству.

МАТЕРИ, СЕСТРЫ, ЖЕНЫ

Римская, а затем и Неаполитанская миссия, где в 1819 — 1821 годах служил поэт Батюшков, находились на том же побережье, что и Ливорно. Не исключено, что в «туристических» разъездах по Италии он посетил это место. В 1780 году здесь утонул его родной дядя, брат матери — Коленька, Николай Бердяев. Он служил на пинке «Евстафий», которая потерпела в Ливорно кораблекрушение. Николаю было всего восемнадцать. Размышления о внезапности смерти, осознание которой (внезапности) в одну секунду превращает жизнь в бессмыслицу, размышление о том, чья рука (и за что) направляет на человека «жало смерти» и существует ли эта рука вообще — часто посещали Батюшкова именно в Италии, которая словно насмеялась своей беспечностью над помрачневшим поэтом. По странному совпадению буквально через год здесь так же внезапно, в расцвете лет, погибнет (утонет) поэт Перси Шелли. Подобно Батюшкову обожавший Торквато Тассо и античность, Шелли был всего на пять лет младше Константина Николаевича. О существовании друг друга лучшие поэты своего времени вряд ли догадывались, хотя Батюшков был знаком со стихами Байрона, старшего приятеля Шелли. Он вольно перевел одну строфу из его «Чайльд Гарольда» («Есть наслаждение и в дикости лесов») и даже написал лорду письмо в Лондон, правда, уже будучи в болезненном состоянии разума.

В семье Бердяевых Николай был единственным сыном, и с его смертью одна из ветвей рода пресекалась. Старшая сестра Саша, Александра Григорьевна, выйдет замуж за Николая Львовича Батюшкова и утратит родовую фамилию. Когда в Вологодскую губернию придет ужасная весть из Ливорно, Саша будет второй год замужем.

Как знакомились и женились в то время в среде поместного дворянства — хорошо видно на примере Александры Григорьевны. Ее отец Гри-

горий Бердяев при Елизавете служил в лейб-компании. В Преображенском полку это была особая гренадерская рота, учрежденная Елизаветой сразу после государственного переворота 1741 года. Рота занималась личной безопасностью императрицы (от немецкого *Leib* — «тело») и ее близких. Лейб-компанцы набирались из тех, кто принимал в перевороте прямое участие. Дед поэта Лев Андреевич Батюшков, автор уже знакомой нам описи в Даниловском, служил в лейб-компании примерно в то же время, что и Григорий Бердяев, дед поэта по материнской линии.

Прослойка дворянства в российском обществе была ничтожной (1% населения), и многие, особенно в отдельной или соседних губерниях, были друг другу если не дальние родственники, то знакомые знакомых уж точно. Дело оставалось за малым, за случаем, и этот случай подвернулся. После лейб-компании Григорий Бердяев служил комиссионером по рекрутским наборам и уличил воеводу во взятках. Правительствующий Сенат направил в Вологду комиссию для расследования. Возглавил ее тверской вице-губернатор Никита Артамонович Муравьев. Он приходился свояком Льву Андреевичу Батюшкову (они были женаты на сестрах). Хлопотами Никиты Артамоновича, который по службе общался и с тем, и с тем семейством, молодых людей решили познакомиться, тем более что у отцов было общее прошлое, да и жили они по-соседству.

Точных сведений, где провела детство Саша Бердяева, у нас нет, мы можем только предположить, что это был Петербург, поскольку здесь служил ее отец. Никаких сведений о ее образовании тоже нет, хотя всех своих дочерей она отдавала на воспитание в пансион к француженке мадам Эклебен, где их учили языкам, рукоделию, музыке и танцам. Можно предположить, что столичная жизнь и хорошее воспитание были «обязательными пунктами» у родителей. Оба они хорошо распробовали вкус этой жизни и только под давлением обстоятельств лишились ее; впоследствии это болезненное притяжение-отталкивание к столицам унаследует и поэт Батюшков.

Какими талантами обладала Саша, мы можем судить лишь по одной сохранившейся строчке: «Александра Григорьевна подарила сестрице шляпку, которую сама убирала...» Это записал Михаил Никитич Муравьев, сын того самого тверского вице-губернатора. В гости к нему в Петербург породственному наезжали молодожены. Впоследствии этот талант перейдет ее дочери Елизавете, чей букет, вышитый шелками, поразит воображение великой княжны Александры Павловны.

Еще одно свидетельство о характере и жизни матери поэта мы находим совсем в другой области, помещичьей. Станным образом этот эпизод рифмуется с Омельяном, которого неизвестно как осудил за кражу Лев Андреевич. Зато известно, как поступила сама Александра Григорьевна. Вот распоряжение о судьбе одного ее беглого дворового: «...наказать плетью, — пишет она, — а по наказании отослать, ежели он окажется годен, в военную службу с зачетом мне в предбудущий рекрутский набор. В случае воинской службе негодности сослать на поселение с зачетом мне за рекрута, а обратно я его к себе взять не желаю».

Душевная болезнь, от которой умерла Александра Григорьевна, передавалась по наследству. Перепады настроения от апатии до ярости считались первыми ее симптомами. Возможно, в одном из таких состояний и было подписано это жестокое распоряжение. Ее болезнь, которую тогда называли «черной меланхолией», «ипохондрией», «душевной болезнью», сегодня, скорее всего, отнесли бы к шизофрении. Как симптомы этой болезни проявлялись у поэта Батюшкова, известно: гнев, мания преследования, попытки суицида, истовая набожность и полное безразличие к жизни и людям часто сменяли друг друга. Можно предположить, что подобным образом развивалась и болезнь матери поэта, и было к лучшему, что старшие дочери, находясь в пансионе, не видели ее в таком состоянии. Зато видел Батюшков. Во всю жизнь он почти нигде не будет вспоминать о матери, но

не потому, что забыл о ней, а потому что ее образ хранился в душе за семью печатями. Так бывает именно с теми образами, в которых заключена травма (болезнь, смерть) — и любовь, которая тем горячее и беззаветней, что ты не успел разделить ее.

Были ли в роду Бердяевых близкородственные браки — мы не знаем, хотя между поместными дворянами такое случалось довольно часто. Родственные браки укрепляли род тем, что собирали и укрупняли его, а не рассеивали. Однако на генетическом уровне побочным эффектом таких браков были разного рода заболевания.

Насколько осведомлены были люди того времени, что именно родственные браки влияют на развитие болезни? Неизвестно. Скорее всего, никак не осведомлены. В 1818 году младшая сестра Батюшкова — Варвара Николаевна («Варинька», «Варечька», «ангел», «ленивая девочка») — вышла замуж за Аркадия Соколова, который был сыном родного брата Варенькиной бабушки, то есть Варинькиным двоюродным дядей. Дядя был старше ее на 13 лет. Их роман тянулся второй год, однако Соколов все не сватался. Это изматывало и Варвару, и ее близких. По письмам Батюшкова видно, что он, и без того во взвинченном состоянии, окончательно теряет терпение. Его оскорбляет двусмысленность положения сестры. Он переживает за нее как старший в семье; так негодовал бы отец. Батюшков требует прямого ответа. «Более года она томится по-пустому, — пишет он. — Ничего у нас не делается, а целому миру все известно. Не навлекайте себе огорчений пустым деликатством. Дела делаются просто. Да или нет — вот и вся песня у благоразумных людей».

Когда свадьба стала наконец делом решенным, она отложились из-за смерти отца — Николая Львовича. В 1818 году Варвара и Аркадий поженились и зажили своим домом: сначала в Вологде, где Соколов служил директором училищ Вологодской губернии, а по выходе в отставку — в родовом Жукове. Мечта Вариньки (как и любой девушки того времени) осуществилась, она стала женой, она стала хозяйкой. Мрачный призрак старика в разоренном Даниловском перестал ее преследовать.

Проявилась ли в этом браке дурная наследственность? Неизвестно. Единственный сын Варвары Батюшковой и Аркадия Соколова — Николай — утонул, провалившись под лед пошехонской речонки Сегожи, когда ему было 34 года. Через пару месяцев после гибели сына Варвара потеряет сестру Елизавету (она умрет от холеры). В имении Хантаново, где когда-то подолгу жил и сам Батюшков, она проведет, когда овдовеет, оставшийся отрезок жизни. Из сестер самая болезненная, слабая здоровьем, она доживет до 90 лет. На сохранившемся портрете мы видим пожилую женщину в чепце. Взгляд ее больших печальных глаз словно полон слез. За больного брата Константина она молилась иконе Божьей Матери «Взыскание погибших», которая, судя по описи, висела в доме. Этой иконе молились о спасении души — того, чья душа померкла для обоих миров, небесного и земного. О сумасшедших то есть.

Она доживала век в одиночестве. Со сводным братом Помпеем, последним ближайшим родственником, была в давней ссоре. Как уже было сказано, они разошлись из-за праха Константина Батюшкова. Поэт и после смерти вносил в их жизнь сумятицу. «Только сегодня, — пишет Варвара Помпею в 1862 году, — я совершенно неожиданно узнала, что Вы изволили дать разрешение перевезти прах моего родного брата... Не скрою от Вашего Высокопревосходительства, что известие это глубоко огорчило меня. Семидесятилетняя старуха, родная сестра покойного... я не считала себя столь чуждой покойному, чтобы не только без моего согласия, но даже и без моего ведома можно было нарушать гробовой покой Константина Николаевича. <...> Часто посещая Спасо-Прилуцкий монастырь во время своих прогулок, он неоднократно в те светлые минуты, которые иногда имел во время своей болезни, выражал желание быть погребенным в этой обители. Племянник

мой исполнил желание покойного. Поэтому я не нахожу никакого достаточного основания к нарушению воли моего брата... твердо надеюсь, что Ваше Высокопревосходительство уважите последнюю, может быть, земную просьбу женщины, стоящей у дверей гроба, просьбу бескорыстную и ни для кого не обидную. Вологда, колыбель Батюшкова, пусть будет местом его последнего покоя. В том случае, если Ваше Высокопревосходительство не почтете возможным отменить сделанное Вами распоряжение, имею честь покорнейше просить вас всеподданнейше доложить просьбу мою Государю Императору».

«Лиза, Лизонька, Лизавета» — так называл ее Батюшков — Елизавета Николаевна была третьей по старшинству среди сестер. В пансионе мадам Эклебен она проявила особый талант. Из всех девиц Батюшковых она одна вошла во вкус к французскому языку и рукоделию, что в перспективе означало — ко всей светской культуре того времени. Лиза была самой прилежной ученицей мадам Эклебен, и та даже представила ее великой княгине. Родители мечтали, чтобы дочь стала фрейлиной и жила в Петербурге. Они хлопотали об этом, однако жизнь Лизоньки сложилась совершенно иначе. Никакой фрейлиной она не стала, наоборот, случилось то, чего она менее всего желала: после пансиона Лизу пришлось отправить в Даниловское. Каково это было, оказаться после Петербурга в пошехонской лесной глухомани, да еще со стариком-отцом — можно представить по роману «Война и мир», где примерно в это же время в подобной глуши жили старик князь Болконский и его дочь княжна Марья. Для девицы ее положения и воспитания только замужество давало шанс уехать если не в Петербург, то хотя бы в Вологду. Брак с чиновником Государственной коллегии иностранных дел этот шанс давал, и прехороший: иностранная коллегия была элитным «ведомством», в глазах обывателей его служащий заметно возвышался над чиновниками других коллегий.

Они поженились в 1802-м — год, когда пятнадцатилетний подросток Константин Батюшков вышел из пансиона. Как они познакомились, мы не знаем. Можно предположить, в Вологде, где была светская жизнь. Их могла сблизить любовь к французскому, которым Шипилов блестяще владел по службе. Так или иначе, выбирать приходилось из небольшого круга, и вологодский дворянин Шипилов в этот круг входил. Еще до замужества сестры его хорошо знал Батюшков, державший за «старшего друга» в годы пансиона в Петербурге, где тогда служил Шипилов.

По протекции Карамзина, которого Батюшков просил за Шипилова, — тот получает должность директора Вологодской гимназии. Молодожены живут в городе. Кроме Шипиловых-младших в доме живет Шипилов-старший. Ускользнув от своего отца, Лизонька теперь вынуждена терпеть старика чужого, бессердечного и скупого. Только взаимная супружеская любовь спасает ее. О Петербурге она давно не мечтает, она довольствуется французскими книгами. Ее письма к брату Константину тоже написаны по-французски. Этим она как бы выделяет себя из провинциального окружения. Зная ее страсть, Батюшков просит сестру Сашу в письме от 9 августа 1812 года: «Скажи Лизавете, что я видел недавно славную сочинительницу Коринны и Дельфины, мадам Сталь, с которой провел целый вечер у графини Строгоновой». «Дурна как черт и умна как ангел», — добавит он фразу, впоследствии ставшую хрестоматийной. Жермена де Сталь, первая интеллектуалка своего времени, бежала от Наполеона и ненадолго оказалась в России. То, что Лиза интересовалась ее сочинениями, многое говорит о ней. Из всех сестер только она могла по-настоящему оценить новое знакомство брата.

Спустя тридцать лет упрямый Шипилов осуществит-таки мечту своей Лизы. Он оставит должность директора Вологодской гимназии (ее «подхватит» муж сестры Варвары) ради должности директора 2-й Петербургской гимназии. Они переедут из Вологды. К тому времени (30-е годы) Елизавета

Николаевна потеряет всех своих дочерей, которые умрут во младенчестве. Потери разовьют в «Лизоньке» постоянный страх за старшего сына. Когда писем от него долго нет, она не находит себе места. «Ты сама знаешь, как бывает с Лизой», — мрачно сообщает об этом Шипилов ее сестре Александре. Но не зря говорят, чего больше всего боишься, то и происходит: сын Алеша, любимый племянник поэта, умрет при неизвестных нам обстоятельствах в возрасте 25 лет. Из всех детей только самый младший Леня переживет родителей.

Елизавета Николаевна умрет в 1853 году в возрасте 71 года. Когда безумный Батюшков узнает, что сестры больше нет и что похоронили ее в Духовом монастыре Вологды (а не в древних Прилуках), — он флегматично заметит, что ей «в Прилуках не с кем было бы говорить по-французски». Даже в помутненном сознании поэта Лиза оставалась «французенкой».

Ане было пятнадцать лет, когда в 1795 году умерла Александра Григорьевна. Через год после смерти матери Аня вышла из пансиона, где провела семь лет, в течении которых видела родителей лишь изредка. Меньше всего Ане хотелось в Даниловское. Отец понимал это и делал все, чтобы пристроить старших дочерей (Елизавету и Анну) в Петербурге. Он просил Павла принять их к Императорскому двору. Но царь не откликнулся на просьбу, и Анна удалилась в родное Даниловское, как в ссылку. Пока отец хлопотал о себе и младших детях в Петербурге, она жила вместе с дедом, и можно только догадываться, каково это было. Из всех «добродетелей», которые развивала в девочках мадам Эклебен, у Анны лучше других проявился талант рисовальщицы. Войдя в роль старшей сестры, она высылает маленькому Константину в пансион репродукцию картины «Диана и Эндемион». Копирование картины разовьет у брата вкус к рисованию, считает она. Старик Лев Андреевич одобряет Анину склонность и даже заказывает в Устюжне рамку и стекло для картины, которую повесит у себя в спальне. Но сколько можно рисовать в Даниловском, и, главное, что?

Мы не знаем обстоятельств Аниного брака с Абрамом Гревенсом, однако, думается, она использовала любую возможность, чтобы покинуть Даниловское. Дед понимал внучку прекрасно: «Естли найду сватающегося человека стоящего и невесте непротивного, — писал он Николаю Львовичу в Петербург, — то тогда и благословение от меня дасца, и награда невесте».

Абрам Гревенс был на двадцать один год старше Анны. Статский советник, он исповедовал лютеранство. По складу характера из литературных персонажей он больше всего напоминает мужа Анны Карениной. Батюшкову он запомнился дурным свойством «удерживать деньги» (не отдавать долги) — в частности, сестрам жены, которым Гревенс (уже после смерти Анны) оставался должен пять тысяч, но почему-то возвращать не считал нужным. Так или иначе, пара поженилась в 1802 году. Их сын Гриша будет первым и самым любимым племянником Батюшкова. Именно ему через много лет выпадет стать опекуном безумного дяди.

Жизнь самой старшей сестры поэта, его «нежного и мужественного друга», оказалась самой недолгой — в 1808 году в возрасте 28 лет она умрет по неизвестной причине. Ее Гриша, как и сама она, вырастет без матери. Старшего Гревенса, оставшегося с детьми на руках, будет утешать в Петербурге Шипилов. Когда они расстанутся, Гревенс напишет ему неловкими, чиновничьими словами — однако сколько тоски прозвучит в этом его каренинском «не найдусь» («По разлуке с Вами и, обыкша видеть Вас всегда с собою, я теперь один не найдусь»).

Анна была первой, самой старшей из единоутробных сестер поэта, а Александра — третьей. Она так и не вышла замуж и не знала материнства. Ее стареющий отец, ее брат и сестры с детьми и мужьями, их бесконечно сложные семейные и финансовые отношения — стали ее отношениями. *Они*

были ее семьей. *Им* она посвятила жизнь. Если кто-то и был невольным ангелом-хранителем семейства Батюшковых, то это была сестра Саша — словно имя матери, которое она носила, делало ее ответственной за всех в этом большом и пестром семействе. Когда старик-отец снова овдовел, когда снова остался один с малолетними детьми на руках — Помпеем и Юлией, — когда доживал свой век в разоренном Даниловском, Саша по первому зову мчалась к нему. Она хлопотала о свадьбе родной сестры Вариньки и воспитании младшей сводной — Юлии. Тревога за близких изматывала ее. «Не можешь ли ты раздобыть для меня сонного порошку, — пишет Саша брату в апреле 1811-го, — я вовсе лишена этого дара небес». И снова: «Шутки в сторону, не знаю, что и делать, дабы обрести сон».

С момента болезни поэта Батюшкова Саша направила на излечение брата всю нерастратенную материнскую энергию. Ее подвиг глубоко и точно оценили друзья поэта (Жуковский считал Александру Николаевну «единственной по нежности сердца и бескорыстию в привязанности к брату»). За свою взрослую жизнь Саша выезжала из Вологодской губернии всего два раза, и второй раз в Германию сопровождать больного брата. Но болезнь оказалась неизлечимой, Константин все глубже погружался во тьму. Если правда, что безумие лишь дремлет в человеке, что оно «крокодил» на дне «колодца» души, как писал Батюшков, и что нужен только толчок, чтобы разбудить «крокодила», — судьба Саши этому лучшее доказательство. Отчаявшись спасти брата, она сама погрузилась во мрак. «Крокодил» безумия понемногу выбирался из ее «колодца». В болезненном рассудке Саша проживет еще 12 лет и умрет только в 1841 году. Поэту Батюшкову не станут говорить о болезни сестры. Ты раздала свою жизнь другим, но что ты получила взамен? — мог бы спросить он сестру.

«Я не могу понять, что нас так привязывает к жизни... — обронит Саша в письме. — Кроме огорчения и болезни ничего нет». Этот жестокий приговор выносит девица 25 лет от роду, но мы слышим голос не по годам трезвой, пронизательной женщины. Оглядываясь на ее жизнь, можно сказать, что именно она и была самой счастливой — если считать за счастье возможность раздать свою любовь близким. Когда она выполнила это предназначение, то просто исчезла из мира. Человек, живущий для других, не думает о воздаянии, могла бы она ответить брату.

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ

Читая переписку людей подцензурного времени, поражаешься, как немного в ней современной истории, как если бы существовала грань, через которую автор письма не позволяет себе переступить. Человек в письмах павловской, например, эпохи словно живет вне политического контекста, вне большого времени. Кажется, он состоит из одних светских сплетен, амуров, анекдотов, интриг по службе, хозяйства, сутяжничества и семейного быта с его детскими болезнями и долгами. Ровно столько, сколько англичанин будет обсуждать парламент, короля и колонии, столько русский делает политику фигурой умолчания. Объясняется это просто, в последние годы правления Екатерины (а потом и в короткую эпоху Павла) цензура и доносы стали общегосударственной формой полицейского надзора за подданными. Общественная и частная жизнь была буквально пропитана соглядатайством. О том, что на границах и таможенных досматривались иностранные книги, а письма, идущие официальной почтой, перлюстрировались, все знали. Одна неловкая фраза или страница сочинения (как сегодня репост или лайк) могли стоить автору карьеры, если не свободы. Расплывчатость требований (пресекать что-либо противное закону Божию, гражданственности и нравам), а также отсутствие профессионального чиновничьего аппарата развязывало цензорам руки. Что бывает, когда ущемляется свободомыслие, какой простор это ущемление

дает человеческой подлости — хорошо видно по тому, как поэт и цензор Туманский обошелся с Карамзиным. Когда-то Карамзин отказался напечатать его вирши в своем журнале, и Туманский, уже в должности цензора, запретил ввоз в Россию экземпляров немецкого издания карамзинских «Писем русского путешественника». Он не только «остановил» книгу, но представил начальству донос, указав в ней «опасные» места, и только случай спас будущего историка от крупных неприятностей.

Политика обсуждалась устно или заносилась в дневники, но дневники тоже оказывались ненадежным носителем. После 14 декабря Пушкин уничтожил многие записи, то же касалось писем и записок, шедших из рук в руки в обход почты: известно, что в ночь после смерти Дельвига его близкие, опасаясь обыска, сожгли почти весь его архив, лишив нас понастоящему бесценного материала. Образованнейшие люди, они говорят в письмах так, как будто не было ни философии Просвещения, ни Учредительного собрания, ни английского парламентаризма, ни побед Наполеона, ни разгрома под Аустерлицем. Между тем все эти события приходится на время жизни поэта Батюшкова, его родителей и сестер, друзей и коллег по цеху. Батюшкову было два года, когда пала Бастилия и наступили великие 90-е. На его отрочество пришлись «турбулентные» годы правления Павла с его эскападами во внутренней и внешней политике. Батюшков перешел в пансион Триполи в год цареубийства. Французская революция, на фоне которой он рос, принципиально изменила представление европейского человека об истории, обществе и его собственной социальной природе. Батюшков пережил триумф и падение Наполеона и даже был активным участником его разгрома. Если бы он остался в уме, то застал бы декабрь 1825-го, который не принял бы, поскольку держался традиционных представлений о дворянской чести; к тому же в ссылку ушли многие из тех, кого он знал и любил с детства. Но великие циклы истории не слишком затронули внутреннее время Батюшкова, и не из-за цензуры. В отличие от Карамзина, который в юности жил ходом истории и пытался его осмыслить, — Батюшков решил не замечать этого хода. Как поэт и человек он состоялся в историческом промежутке между эпохой Французской революции и восстанием декабристов, поставившим этой эпохе кровавую точку в далекой России; между классицизмом и романтизмом. В каком-то смысле ему повезло, поскольку обрести собственное, внутреннее время, а значит и собственный голос, проще именно в промежутке — когда кроме внутреннего времени поэту больше не на что опереться.

Жизнь Батюшкова похожа на систему шлюзов, через которую поэт соотносился с миром. По мере нарастания болезни шлюзы один за другим закрывались. Он все чаще пасует, прячется, уходит в себя. Приговор Истории, которую Батюшков видел и в которой участвовал, он высокомерно произносит с позиции вечности, и в этом высокомерии — вся его слабость. Именно эта «спесь» «противна» Мандельштаму, принявшему и разделившему свое время целиком и полностью. А Батюшков предпочел смотреть на Историю глазами Экклезиаста. «И вот передо мной лежит на столе третий том *Esprit de l'histoire, par Ferrand*, — пишет он Гнедичу в 1811 году, — который доказывает, что люди режут друг друга затем, чтоб основывать государства, а государства сами собою разрушаются от времени, и люди опять должны себя резать и будут резать, и из народного правления всегда родится монархическое, и монархий нет вечных, и республики несчастнее монархий, и везде зло, а наука политики есть наука утешительная, поучительная, назидательная... и еще бог знает что такое! Я закрываю книгу. Пусть читают сии кровавые экстракты те, у которых нет ни сердца, ни души».

В 1797 году отец поэта отчаялся получить в Петербурге новый чин и хорошую должность и удалился в Даниловское. Из денег, полученных от заемного банка, он внес за обучение сына Константина в пансион француза

Осипа Жакино 700 рублей на год. Однако через четыре года, когда пришло время отдавать в пансион младшую сестру поэта Вариньку, денег на дорогого француза не хватило, и Николай Львович перевел сына в пансион подешевле — к итальянцу Ивану Антоновичу Триполи.

Триполи был географ и преподавал в Морском кадетском училище, а на дому держал частную школу. Судя по эпиграмме, кадеты относились к наставнику с любовью, но без уважения («Прекрючковатый нос, фитою ножки, / Морской мундир, гусарские сапожки»). Однако вкус и чутье к итальянскому языку привил Батюшкову именно этот нелепый и смешной, одетый не по моде человек.

Существует письмо Батюшкова из пансиона в Даниловское, в котором звучит хрестоматийная фраза «прохожу италиянскую грамматику и учу в оной глаголы». Есть в письме упоминание «большой картины», которую Батюшков рисует по заданию старшей сестры Анны. Он копирует «Диану и Эндимиона», которую она ему прислала. Была ли это репродукция Рубенса или Жироде (для копирования больше подходил Жироде), мы не знаем, однако сам сюжет исполнен глубокого «батюшковского» смысла, если знать, как сложилась судьба поэта впоследствии. Сюжет, который срисовывал Батюшков, был античным. Богиня Диана влюбилась в юношу Эндимиона и стала приходить к нему, пока он спит. Эндимион, случайно проснувшись, обнаружил богиню, но решил, что целуется во сне. Чтобы видеть этот сон почаще, то есть чтобы Диана приходила к нему снова и снова, он спал как можно дольше, пока не перебрался за черту яви окончательно. Диана была богиней луны, а Эндимион, таким образом, первым лунатиком; не странно ли, что этот сюжет рисовал подростком первый лунатик русской поэзии Константин Батюшков?

Благодаря Анне, которая следила за художественным воспитанием брата, из Батюшкова получился неплохой рисовальщик, и это видно по рисункам, которые сохранились. Дело не в том, что Батюшков не стал художником, а в том, что на всю жизнь (и даже в безумии) сохранил твердость руки и цепкость взгляда. Перед нами не альбомные завитки и виньетки, а портреты и даже жанровые сцены, набросанные точным пером. Об этом лучше всего судить по рисункам лошадей, которые встречаются у многих, у Пушкина, например, но только у Батюшкова имеют реалистичные очертания. В русской поэзии талантливее Батюшкова рисовал только Лермонтов. Выпуклость, наглядность, художественность внешнего мира, свойственные взгляду художника, найдут себя и в поэзии. Батюшков станет первым после Державина поэтом, чей визуальный ряд с его поблескивающими при лунном свете пиками или ночным дымящимся костром серьезно потеснит абстрактную риторику и вычурные метафоры. После него только Пушкин сможет одной строкой оживить целую картину («сальная свеча темно горела в медном шандале»).

Первым литературным опытом Константина был перевод на французский речи митрополита Платона. Речь была написана на восшествие Александра Первого и прочитана Платоном в Москве во время коронации. «Отважится вокруг престола твоего пресмыкаться и ласкательство, и клевета, и пронырство со всем своим злым порождением, — писал митрополит, — откроем безобразную главу свою мздоимство и лицепрятание, появится бесстыдство и роскошь со всеми видами нечистоты, к нарушению святости супружеств, и к пожертвованию всего единой плоти и крови, в праздности и суете» и т. д. Однако с «помощью небесной, — продолжает митрополит, — подвиг твой будет удобен, бдение твое будет сладостно, попечение твое будет успешно, бремя легко и ополчение твое будет победительно и торжественно».

Речь императору понравилась и была опубликована в числе переводов на другие языки. Если принять, что при переводе склад мысли усваивается переводчиком особенно глубоко, то Батюшкову повезло: митрополит Пла-

тон был одним из самых просвещенных, либеральных церковников своего времени. В том же письме Батюшков не без гордости сообщает о переводе отцу, и это письмо — едва ли не единственное свидетельство жизни поэта в пансионе. Благодаря ему мы знаем, что деньги, которые мальчик просит у отца, нужны ему на прачку, почтовые расходы, крепостного слугу Федора — и на себя. Отцу он напоминает, что тот обещал подарить ему свой телескоп, который «можно продать и купить книги».

Жизнь в пансионе приучала жить самообслуживанием и чем-то напоминала армейскую; в военных походах этот опыт Батюшков, надо полагать, вспомнит. В отрыве от родных и близких, жизнь в чужом городе, в замкнутом пространстве среди себе подобных, рано научит Батюшкова жить своим умом и расчетом. У Жакино и Триполи он выучится языкам и наукам, но больше — самостоятельно распоряжаться своей личной жизнью и средствами к ней; самому принимать решения и отвечать за них. Несмотря на сложившийся образ певца неги и счастливых мгновений, в жизни он будет человек действия. Эта черта характера сделает Батюшкову-поэту и судьбу, и легенду. Она же в конечном счете его и погубит.

Годы, проведенные Батюшковым в Петербурге по выходе из пансиона, не назовешь временем одиночества и бесприютности. В судьбе юноши многие принимали участие. В пансионе его регулярно навещал Платон Соколов, пошехонский помещик и дальний родственник Николая Львовича (Варинька, младшая сестра поэта, выйдет замуж за брата этого Платона — Аркадия). Особенное место занимает в судьбе Батюшкова семейство Муравьевых, тоже родственное. У Муравьевых Батюшков живет в Петербурге после выхода; они станут для него «семьей» и будут породственному хлопотать, чтобы Батюшков получил место в Министерстве народного просвещения. Именно к этому времени относится первый из известных портретов Константина Николаевича — молодого человека в гражданском ведомственном мундире темно-зеленого цвета. Сейчас этот портрет можно увидеть в литературном музее Пушкинского дома.

Те несколько лет, что он проведет в столице, он проведет в лучшее для страны время. Это будет время первых политических решений нового императора, многие из которых поразят современников либеральностью. Как и его бабка, как и вообще русская власть, когда она хочет забыть дурное прошлое и начать с чистого листа, — Александр будет царствовать повернувшись лицом к Европе. Воспитанный на идеях Просвещения, он будет мечтать о мире и благоденствии не только в России, но и на всем европейском континенте. Ослабление цензуры приведет к настоящему буму на театре, в журналистике и книгоиздании. Появятся многочисленные общества любителей литературы и художеств, кружки и салоны. Рассеянные или уничтоженные зубовским, а затем и павловским деспотизмом, задавленные молчанием и самоцензурой — образованные, свободные, умнейшие люди своего времени выйдут из тени и составят новую эпоху, о которой потом будут написаны книги. Литературную и интеллектуальную среду начинающему Батюшкову обеспечат именно эти люди. Иван Пнин, Николай Радищев, Иван Мартынов, Михаил Муравьев, Алексей Оленин, Николай Гнедич, Иван Крылов — разные по таланту, статусу, судьбе и возрасту, они во многом сходятся во взглядах на человека и литературу. И тех, и других объединяет поиск новых форм для воплощения идей немецкой философии и французского Просвещения, и не только в литературе, но и в государственной, и в частной жизни.

Первое интеллектуальное окружение составили Батюшкову его сослуживцы по Министерству народного просвещения. Образованное в 1802 году, оно займется не только организацией учебного процесса (школы,

академии, университеты), но и библиотеками, и музейными собраниями редкостей, и журналами, и типографиями — то есть практически всей культурно-просветительской жизнью страны. Дядя Батюшкова — Михаил Муравьев — будет назначен товарищем, то есть заместителем, министра. На новые должности ему потребуются молодые образованные люди, среди которых предсказуемо окажется его племянник, пятнадцатилетний Батюшков. Именно к этому времени относится один из первых портретов, изображающих юношу. Как и его отец, он будет занимать должность «без жалования» единственно ради получения первого табельного чина. Уже через год перемарывания бумажек должность принесет ему коллежского регистратора («елистратишки», как презрительно именовался низший чин в Табели); к нему будут обращаться «Ваше Благородие», а государственная пенсия составит 215 рублей в год. Однако все эти «бонусы» будут смехотворны по сравнению со знакомствами, которыми обзаведется Батюшков.

ИВАН ПНИН. Экспедитор министерства, поэт Иван Петрович Пнин был старше Батюшкова на четырнадцать лет. Он писал громоздкие оды, в которых рифмовал «кровь» и «любовь», и статьи в защиту гражданских прав — со всей страстью человека, этими правами обделенного. Пнин был незаконнорожденный сын дипломата и генерала екатерининских времен Николая Репнина. В наследство от «палача Польши» он получил усеченную фамилию (как тогда часто делалось: Бецкой — Трубецкой, например) — и курс обучения в инженерном корпусе. После чего был предоставлен на собственное усмотрение и жил в нищете, зарабатывая на жизнь литературными опусами. Мы не знаем, насколько близкими были отношения Батюшкова с Пниным, однако на роль ментора фигура Ивана Петровича подходила идеально. Научить писать стихи невозможно, но привить возвышенное отношение к сочинительству — можно и нужно. Пнин был как раз таким донкихотом. Батюшков усвоил его урок, хотя и не разделял общественных взглядов старшего товарища. Опусы Ивана Петровича были неловкими, но только потому, что через литературу он служил истине. Истина же заключалась в том, что Бог велик и непознаваем, а человек от рождения свободен и в свободе выбора между добром и злом другим людям равен; только через искусство, считал Иван Петрович (а не церковные догматы и «мистику»), можно приблизиться к Его непостижимости. Пнин был деист и свои убеждения выражал в полемике с Державиным и Ломоносовым. Даже оды свои он называл так же («Человек», «Бог»). Классицисты призывали принимать удары судьбы как проявление неведомой, хотя и благой воли Божьей — а Пнин считал, что у человека всегда есть выбор. Его талант заключался в неунывающем темпераменте. Он относился к числу людей, чей оптимизм только укрепляется жизненными невзгодами. Символично, что через полтора века Набоков отдаст его имя герою одного из лучших своих романов. Идея Творца-Автора, который подглядывает из потустороннего мира за людьми-персонажами, была близка Набокову. Как и реальный Иван Пнин, его герой одинок, беден и болезнен. Однако природное жизнелюбие и вера в то, что со смертью не все заканчивается, — помогают ему преодолеть жизнь. Даже о горькой доле Иван Петрович пишет ободряюще. У него есть строчки о человеке, который «В слезах родясь, в слезах кончает / Своих остаток горьких дней», и это именно тот повтор («в слезах... в слезах»), который через двадцать лет откликнется в самом мрачном стихотворении Батюшкова («Рабом родится человек, рабом в могилу ляжет...»). Насколько, однако, разных людей мы слышим в этих стихах! Смерть как переход в инобытие (Пнин) или смерть — конец дурацкой сказке под названием жизнь (Батюшков).

Незадолго до смерти Иван Петрович был избран председателем Вольного общества любителей словесности наук и художеств, куда в разное время входили самые известные люди литературы, театра и живописи.

Хотя Батюшков сперва и не был принят в это общество, многие его члены остались для него добрыми знакомыми. Пнин умер от чахотки в 1805 году. «Он надеялся, что князь Репнин признает его своим сыном, но, узнав по кончине его, что тот забыл о нем в своем завещании, впал в уныние и зачах», — написал о смерти Ивана Петровича недоброй памяти журналист и редактор Николай Греч. Написал на смерть Пнина и Батюшков, но оплакал не гражданина, как это сделали почти все «поэты-радищевцы», и не обойденного в завещании бастарда (как это сделал Греч) — а Человека и его участь. «Он был, как мы, лишь странник мира!» — скажет о нем юный Батюшков.

НИКОЛАЙ РАДИЩЕВ. Сын автора культового «Путешествия из Петербурга в Москву», Николай Радищев служил в министерстве архивариусом. К своим 22-м годам он уже был автором книги «Богатырских повестей». Надо полагать, Батюшков нашел в Радищеве-младшем родственную душу — Николай в детстве тоже лишился матери, а отца не видел с тех пор, как тот отправился в ссылку. Он вырос в семье дяди остроумным и беззащитным юношей. В глазах интеллектуалов старшего поколения его отец был легендарным диссидентом, и мальчик рос в тени этой легенды. Как и его отец, Николай пытался писать русским складом. Когда Радищев-старший вернулся из Сибири, они снова зажили порознь: автору «Путешествия» был запрещен въезд в столицы. «Пожми руку у Радищева, — писал Батюшков в 1809 году Гнедичу, — у него сердце на ладони; я его не переставал любить». На глазах 15-летнего Батюшкова в судьбе Николая Радищева разыгрывается новая драма: в 1802 году Радищев-старший умирает, выпив яду. Это событие, случайное (перепутал стаканы) или преднамеренное (был уязвлен внушениями власти) *самоубийство* легендарного диссидента в то время, когда власть, казалось бы, готова к переменам, заставляет по-разному реагировать общество. Иван Пнин и многие из его окружения пишут взволнованные стихи памяти великого демократа. Карамзин находит в самоубийстве Радищева форму бессмысленной борьбы с властью и отчаянный самопиар (да и просто не может простить, что это радищевское, а не его «Путешествие» снискало столько славы). Царь отправляет к умирающему своего лейб-медика. Этим жестом он как будто говорит: пусть никто не подумает, что Радищева *довели* до гибели. Точно так же сделает потом его брат Николай, император Николай I, когда узнает о смерти Пушкина (оплатит долги); во все времена русская власть разоблачала себя сама.

ИВАН МАРТЫНОВ. Над чиновниками низших классов возвышался правитель дел департамента Иван Иванович Мартынов. Он возвышался над ними во всех смыслах. Ровесник Пнина, это был человек совсем другого склада. Когда Михаил Никитич Муравьев привел знакомить к министру Мартынова, то просто сложил перед графом Завадовским на пол стопку из его книг. Это были в основном переводы стихов античных классиков, выполненные прозой. Иван Иванович говорил тонким, как бы дребезжащем голосом. Он сознался, что плохо владеет французским и не знает канцелярского делопроизводства. «Государю и комитету известно, — ответил Муравьев, — что такое вы знаете, и чего не знаете. Нам нужно то, что вы знаете; для того, чего не знаете, у вас будут помощники». Так переводчик греческих классиков стал чиновником министерства. В двадцатых годах Мартынов выпустит 26-томную антологию античных авторов в собственных переводах. В биографических записках он выступит теоретиком перевода. Он будет оправдываться, что переводит стихи прозой только потому, что для перевода великих стихов нужен великий поэт. Он возглавит литературный журнал «Северный вестник», на издание которого получит «грант» от монарших щедрот в три тысячи на год. Начинающий поэт Батюшков будет печататься в этом журнале.

МИХАИЛ НИКИТИЧ МУРАВЬЕВ. Сын того самого тверского вице-губернатора Никиты Муравьева, стараниями которого будущие родители Батюшкова познакомились и поженились. Двоюродный дядя Батюшкова (отец Муравьева и дед поэта были женаты на сестрах Ижориных). Человек, мало сказать повлиявший — сформировавший Батюшкова в его первые самостоятельные годы. Без Муравьева он вряд ли бы состоялся таким, каким мы его знаем.

Адепт философии Просвещения, ученый, переводчик и поэт, выбранный Екатериной в наставники внукам, Михаил Никитич сочетал в себе царедворца и лирика, чиновника и ученого мужа. Это внутреннее противоречие «разгоняло» движение его поэтической мысли. Старое мышление спорило и отступало в нем перед новым. О романтическом индивидуализме он говорил языком классицизма, но размышления его указывали на следующую эпоху. Еще в конце 70-х Муравьев одним из первых стал проповедовать «своенравные картины Шекспира» и даже сделал перевод монолога Гамлета с немецкого. Живший в нем «внутренний классицист» не одобрял шекспирово смешения «подлого и возвышенного». Но другой Муравьев, человек, предчувствующий новое время, справедливо ставил Шекспира над Расином: за «красноречие сердца неподражаемое, горящее истиною, поражающие обороты чувствований и удивительное богатство описаний».

То, что в поэзии усвоит и воплотит Батюшков (непринужденность слога и подвижность мысли), Муравьев еще не мог хорошо выразить. Все-таки он был человеком совсем другой эпохи. Он только укажет направление: открывать в себе — себя, описывать движения души, которые лучше всего раскрываются вдали от светского шума в узком кругу друзей и семьи. Чтобы выразить человека, нужна новая форма, в которой пластичность языка сочеталась бы с внятностью мысли. Термин «легкая поэзия», калькированный с французского «*poesie fugitive*», войдет в обиход именно с его подачи. Образцом для языка этой поэзии он призовет считать дружескую беседу. Когда язык соответствует мыслям, а мысли — чувствам, то и речь, считал Муравьев, потечет легко и точно.

В эпических и драматических жанрах (классицизм) неровности слога компенсируются поворотами сюжета и пожаром страстей. Как в блокбастере, мы больше следим за эффектами, а не за психологией или эстетикой. Наоборот, лирика (как, например, арт-хаус) обращена к внутреннему человеку, тонкостям его состояний. Здесь требуются другие кисти и краски. Интерес к движениям души и сердца, выраженным через палитру чувственных проявлений, сформируется в «сентиментализм». Карамзин на десять лет младше Муравьева, будет в этом смысле его единомышленником. Поэзия, считал Карамзин, проверяется читателями, главный из которых — образованная светская женщина, обладавшая тем, что нужно для тонкого чувствования: вкусом к прекрасному и досугом, чтобы этот вкус развивать и воспитывать. То, какие «всходы» даст обращенная к женскому сердцу литература, мы прекрасно знаем по судьбам жен декабристов. Подвиг, который они совершат, будет подвигом читательниц Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Пушкина.

Чиновник и государственный деятель, Муравьев считал службу несовместимой с поэзией, поскольку настоящая поэзия требует всего человека. Революционное утверждение, ведь ни Державину, ни Ломоносову не пришлось бы в голову служить одной только Музе. А поэзия, которую предчувствовал в племяннике Муравьев, была именно такого рода. Он пристроил Батюшкова сначала в Министерство просвещения, а потом к себе в канцелярию по Московскому университету — прекрасно сознавая, что должность «расставщика кавык и строчных препинаний» не сделает племяннику карьеры, зато оставит достаточно досуга, чтобы писать стихи. В том, что литературой надо заниматься, что это ежедневный труд языка и сердца и что он требует тишины и покоя, и времени, — Муравьев не сомневался.

Это противоречие между творчеством и карьерой останется для Батюшкова до конца жизни неразрешимым. Да, поэзия требует целиком человека — но как совместить это требование с долгом чести и службой Отечеству? Да просто с тем, что надо служить или заниматься хозяйством, чтобы иметь на досуг средства? Ни одна из должностей, которые он будет занимать в жизни, не даст ему карьерного успеха, а в себе как в поэте он разочаруется еще раньше. В 1815 году он с горечью скажет, что «носить на себе тяжелое ярмо должностей, часто ничтожных и суетных и хотеть согласовать выгоды самолюбия с желанием славы — есть требование истинно суетное». Это говорит человек, вынужденный с юности думать о том, как свести концы с концами. Подобные мысли мало совместимы с тишиной и покоем, без которых не напишешь и строчки.

Муравьеву было легко рассуждать о праздности, его семейство было более чем обеспеченным. Батюшков несколько лет прожил с ними под одной крышей и знал, как это — жить ни в чем себе не отказывая. Он свыкся с тем, что жена Муравьева — Екатерина Федоровна — заботится о нем как о старшем сыне. Сыновей Муравьевых Никиту и Александра он считал младшими братьями; они выросли у него на глазах, и тем болезненнее пришелся удар, когда Батюшков понял, что они состоят в тайных обществах. Но разве могло быть иначе, если отец воспитывал детей в добродетелях свободы и равенства, а страна, которая их окружала, утопала в унижении и рабстве?

В доме дядюшки Батюшков хорошо усвоил, что для поэзии требуется праздность, а для праздности — финансовая свобода. Он хотел бы достичь и другой свободы, проповеданной дядюшкой: независимости от чужих мнений. Муравьев считал, что литература есть форма внутренней жизни, своеобразная гимнастика души и сердца, и не стремился к публичности. «Скромность, даже излишняя, не позволяла ему быть в сношении с публикою», — заметил Карамзин.

«Человек добрый, кроткий, благородный, умный, но слабый и бесхарактерный, он писал по-русски хорошо, но сочинитель и творец был слабый», — сказал о Муравьеве Греч. Человек приземленного ума, Греч мог действительно считать, что Михаил Никитич занимался «ерундой». Однако именно эта ерунда обеспечивала будущий взлет русской поэзии, и Батюшков это прекрасно почувствовал. Благодарность Муравьеву выразилась в посмертных изданиях Михаила Никитича, инициатором которых стал Батюшков. Он же был редактором дядюшкиных сочинений, из правки которых видно, насколько разными все-таки языками они изъяснялись. Батюшков-редактор заменяет «толь многие» на «множество», «позорище» — на «зрелище», «узнав произведение твое...» — на «что тебе дали чин», «кавалерство» — «рыцарство», «город протекает посредине река» — «посреди города протекает река» и т. д. Ну и самое «батюшковское»: когда «близко природы» он правит на «в объятиях природы».

Карамзин и Муравьев подтолкнул Батюшкова искать добродетель в легкости языка и гедонизме чувства. Отсюда один шаг к золотому веку античности с его философией разума (ведь только разум способен привести человека к главной добродетели, *самоограничению*, к *совести*). И Батюшков займется переводами греческих авторов. Он отдаст «легкой поэзии» первые годы творчества, однако вскоре ему станет тесно. То, что критики будут по-прежнему ждать от него радостей страсти, — приводит его в бешенство. Эта «читательская инерция», предсказуемая во все времена поэзии, будет угнетать поэта. Одной из причин, подтолкнувших неустойчивый батюшковский разум к помрачению, будет нежелание критиков видеть «другого Батюшкова». Поздними стихами он преодолет «читательское ожидание» и, как всякий большой поэт, перерастет и критиков, и себя прежнего. Однако цена, которую ему придется заплатить за превращение, будет слишком высокой.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ОЛЕНИН. Алексей Оленин родился в 1763 году в особняке своей матери, урожденной княжны Волконской — в Москве, в Малом Кисловском переулке. Этот дом (№ 5) и сегодня можно увидеть, правда, с «повернутым» фасадом — от сада на улицу. В нем расположена резиденция посла Швейцарии. Лучше прочих об Оленине сказал Василий Ключевский (слово «делец» тогда не имело отрицательного значения): «По своему общественному положению это был государственный делец, проходивший самые разнообразные служебные поприща; одно из блестящих произведений и оправданий школы Екатерины II и Бецкого, мечтавшей о воспитании дельцов, которые, подобно древнеримским деятелям, способны были бы становиться мастерами всюду, куда призывала их польза государства и отечества».

Сообразно идеям Просвещения Екатерина считала, что должным воспитанием сердца и разума можно вывести в России новую породу людей — дворян, живущих и служащих стране по уму и совести. Первым и главным апостолом этого учения был Иван Бецкой, внебрачный сын князя Ивана Трубецкого и «крестный отец» Смольного института и Воспитательных домов Москвы и Петербурга. Оленин же, отправленный Екатериной на обучение за границу, стал «продуктом» этого учения. Его послужный список впечатляющ. Он был юнкер Пажеского корпуса и студент Артиллерийской школы в Дрездене, он был батарейный командир в шведской и польской кампаниях, а в Финляндии инженер. Он участвовал в ополчении 1806 года и помог «негодному» к строевой службе Батюшкову попасть в армию. При переходе на гражданскую службу он управлял конторой по покупке металлов, был чиновником Ассигнационного банка, обер-прокурором 3-го Департамента Сената, директором Юнкерской школы и императорской Публичной библиотеки, статс-секретарем Государственного совета и президентом Академии художеств, возродивший Академию из хозяйственного и художественного упадка.

Оленин был на двадцать четыре года старше Батюшкова и еще меньшего, чем Батюшков, роста. Из-за его деятельной природы (и малого роста) современники называли его «живчиком». Именно в доме Оленина на Фонтанке Батюшков нашел поддержку собственным начинаниям. В отличие от дома Муравьевых, живших сугубо семейственно, особняк Олениных был открыт для людей искусств и науки. Его салон часто называли Ноевым ковчегом. Будучи по свойству ученым и конформистом, Оленин с одинаковым интересом относился и к Карамзину, и к Шишкову. Оба они были для него проявленными времени. Человек огромных *знаний*, он был полезен и Монферрану, по совету Оленина поместившему на постамент Александрийской колонны копии военной амуниции, — и Гнедичу, которого пристроил на хорошую должность и воодушевил переводить «Илиаду» гекзаметром (а не александрийским стихом, как тот сперва пробовал). Муравьев знал, насколько важны для поэта досуг, интимность, праздность. Насколько важна интеллектуальная, артистическая *среда* — питательная среда для любого таланта, — знал Оленин. Эстетическая позиция «между крайностями», которую занимал Алексей Николаевич и которая составляла дух его салона, хорошо подмечена в письме Жуковского. «Дом его есть место собрания авторов, которых он хочет быть диктатором, — пишет он в письме Елагиной, — в этом доме бывал и Батюшков, которого место занял теперь я; здесь бранят Шишкова, и если не бранят Карамзина, то по крайней мере спорят с теми, кто его хвалит».

В доме Оленина Батюшков не только почувствовал вкус к изящному, он усвоил язык, на котором об изящном разговаривали. Оленин был универсалист, и этот урок Батюшков усвоил тоже: что границы в культуре проницаемы; что в искусстве одно влечет за собой другое; что это система центростремительная и расширительная; и что нет ничего худшего, чем культурная изоляция. Наконец, именно в доме Оленина Батюшков встретит девушку, которой следуют предложение руки и сердца, первое и последнее в своей жизни.

НИКОЛАЙ ГНЕДИЧ. Ближайший друг и конфидент Батюшкова, адресат большинства его писем. Дружбе с ним Константин Николаевич придавал какое-то почти сакральное значение (сам Гнедич в дружбе оставался прагматиком). Наверное, в нелегкой судьбе товарища Батюшков слышал рифму своим собственным невзгодам, хотя Гнедич «удары судьбы» не романтизировал, а, наоборот, скрывал и только упрямее шел к цели. При склонном к унынию и самоедству Батюшкове он был как Штольц при Обломове и часто брал с поэтом снисходительный, даже грубоватый тон («турецкого табаку пришлю такого, что до блевоты закуришься»).

Судьба Гнедича была, действительно, невеселой. Его детство прошло в полумужицкой среде небогатой малороссийской усадьбы. Он рано потерял родителей, «старосветских помещиков» из Полтавской губернии. Девяти лет от роду его поместили в Полтавскую духовную семинарию (откуда он вынес брутальный бурсацкий юмор и чтение стихов нараспев). В раннем детстве он переболел «воспой», и его лицо было обезображено. Правый глаз был и вообще утрачен. На портретах его изображали, как одноглазого Кутузова, с одного бока. На единственной картине, где он справа, он в специальных очках, в которых синяя шторка прикрывает вытекший глаз.

Внешнее уродство Гнедич компенсировал модными нарядами. Он носил невероятных расцветок шейные платки, запонки и пряжки, кружева, пестрые жилеты и забубенные шляпы. Первые годы в Петербурге он нищенствовал, снимал угол и жил на гонорары. Но когда получил должность помощника библиотекаря Публичной библиотеки — уже мог себе позволить щегольски одеваться. Он следил за модным рынком и, когда в Москве появился дешевый батист, просил Батюшкова выслать ему «полдюжины платков». И должность, и неплохое жалованье он получил благодаря Оленину, «продвигавшему» Гнедича как талантливого переводчика. Он же выхлопотал Гнедичу пенсию от «Апполонши», как называл Гнедич великую княгиню Екатерину Павловну (грант на переводы из Гомера).

В общей сложности Гнедич получал около восьми тысяч в год — для сравнения, доходы Батюшкова с имений были почти вдвое меньше. К тому же Гнедич жил холостяком на казенной квартире и не платил за аренду и «коммуналку». Эту квартиру он изысканно обставил дорогой мебелью и утварью, и устраивал чтения. Читал он нараспев высоким завывающим голосом (как читают ектенью) — так, что собака его Мальвина пряталась под диван и подвывала оттуда. Этажом ниже Гнедича квартировал Иван Крылов, которому Оленин тоже покровительствовал. Они с Гнедичем по соседски дружили и, когда выходили вместе, представляли довольно дикую пару: тучный высоченный Крылов, одышливый человек-гора, — и разодетый как павлин одноглазый рябой. Вспоминали, что даже цвет фрака Гнедич принаровлял ко времени дня, в которое выходил из дому.

Для Гнедича, считавшего себя проповедником античной культуры и современного развития России, Батюшков оставался милым вологодским помещиком и баловнем, которому можно и нужно покровительствовать. «Грудьонка твоя треснула бы, — писал Гнедич, — если б ты был в моих объятиях». Как истинный Штольц, он трудился сам и подталкивал к работе товарищей. Крылова он убедил сесть за перевод «Одиссеи», и только природная лень не позволила Ивану Андреевичу пойти дальше нескольких строк. Он мечтал увидеть на русском поэмы Торквато Тассо, а Батюшков, прекрасно читавший на итальянском, постоянно откладывал работу. Гнедич был стихотворец и переводчик, но не поэт и не мог взять в толк, что настоящему поэту перевод нужен для «разгона» собственной поэтической мысли. Он злился и ругал Батюшкова, когда тот забросил переводы.

В свое время Оленин представил Гнедича ко двору, и, как всякий неродовитый провинциал, Гнедич чрезвычайно кичился связями в высшем свете. Молодой Гоголь надписал ему «Вечера на хуторе...» фразой «Знаменитому земляку от Сочинителя», и этот «земляк» сильно раздосадовал Гнедича. Он желал бы поскорее забыть свое невеселое прошлое. Гнедич не мог

и подумать, что своих «Ивана Ивановича — Ивана Никифоровича» Гоголь спишет с него и Крылова.

Поглощенный работой над Гомером, Гнедич стал гнушаться литературных партий и собраний, особенно «патриотических». В одном из писем к Батюшкову он в довольно резких выражениях описывает подобные литературные сборища: «Я давно уже отказался, — пишет Гнедич в декабре 1809 года, — не вмешиваться ни в какие разговоры, ибо их, сколь я заметил, ведут или дураки или о дурачестве. Не думай, чтобы это заставляло говорить оскорбленное мое от них самолюбие. Нет, именно их вонючие курения, другому бы вскружившие уже голову, раздирают мою душу. Два бывшие со мною приключения пусть послужат тебе доказательством, как самая наружность нынешних людей оподлена: у Шишк<ова> я одному из членов словенофилизма приказывал подать мне стакан воды, почитая его лакеем; в доме Держ<авина> у одного из его юных поклонников спросил: куда у них на двор ходят? почитая его тоже лакеем. Из таких фигур, из таких тварей я вижу общества, советы и суды о произведениях ума и вкуса».

Гнедич, хоть и был искренне привязан к Батюшкову, в делах с ним вел себя далеко не по-дружески. На издании «Опытов в стихах и прозе», первой (и последней) книги Батюшкова, он как следует «нагрел» товарища. Он обязал Батюшкова взять на себя все финансовые риски, а когда книга «пошла», выплатил товарищу всего две тысячи, забрав себе остальные пятнадцать. Через несколько лет тот же трюк он проделал с «Русланом и Людмилой» Пушкина и его же «Кавказским пленником»: полторы тысячи автору, себе в карман втрое больше. Пушкин подозревал об аферах старшего товарища и много лет спустя даже написал эпиграмму: «Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера, / Боком одним с образцом схож и его перевод». Правда, в рукописи эта эпиграмма была тщательно зачеркнута. Странный пиетет перед одноглазым рябым античником не позволял литераторам в открытую с ним ссориться.

Разные по возрасту и происхождению, по положению на чиновничьей лестнице и богатству, эти люди легко преодолевали возрастные и социальные барьеры — тем, что тяготели к европейской культуре, какой она жила в них и жила через них. Даже «русский-народный» Крылов брал сюжеты из Лафонтена, читай — Эзопа. Так античность и европейскость, пересаженные на русскую почву, создавали платформу для культуры, которую мы называем русской и которую невозможно помыслить отдельно от России. Эта культура и была новой Россией, которую Оленин, Муравьев, Пнин, Батюшкова, Гнедич и многие другие создавали каждый по-своему вокруг себя. То, что эта культура возникла в обход, а часто вопреки запретам государства — только подтверждало ее силу.

Те несколько лет после пансиона Батюшков будет жить в чрезвычайно интенсивное время. Для начинающего стихотворца оно будет благотворно не только относительной свободой слова и мнений, но и тем, что в таком возрасте еще не нужно думать о славе и выгодах. В двадцать лет удовольствием является сама литература; сама причастность к цеху и собратьям по перу; причастность идее просвещения разума и смягчения нравов. В первые годы правления Александра общественный запрос на это был очевиден.

ПЕРВАЯ ВОЙНА

С 1798 года Россия воевала с Францией в составе коалиции европейских держав. Все это были локальные и малоуспешные, хотя иногда и яркие (вроде Альпийских демаршей Суворова) военные эпизоды, немного значившие в ходе большой наполеоновской игры против Англии. И в этой большой игре Наполеон, безусловно, выигрывал. Он действовал так, словно видел Павла насквозь. Когда русский император счел себя оскорбленным

захватом англичанами Мальты, Наполеон воспользовался этим незамедлительно. Достаточно было с почестями вернуть Павлу шесть тысяч русских пленных, одетых в новопошитые мундиры и хорошо вооруженных; достаточно было нескольких лестных слов в адрес полководческого таланта «русского Гамлета» и предложения совместного проекта — как вечно сомневающийся в себе, добродушный, но озлобленный и уязвленный Павел переменялся.

Дружба с Наполеоном означала, что Россия примкнет к экономической блокаде Англии. План, предложенный Павлу, вскружил ему голову. Он почувствовал себя полководцем, которому предлагают серьезное дело. Этим делом была не только блокада Англии, но и полный разгром ее. Добиться победы Наполеон предлагал через Индию, которая была английской колонией и восточным богатством обеспечивала превосходство Англии. Самая безопасная дорога в Индию лежала не морем, где хозяйничала Англия, а через Россию. Нет Индии, нет и Англии, считал Наполеон. Нужно просто самим завладеть сокровищами этой колонии.

Идея настолько воодушевила Павла, что он отправил в Индию казачьи отряды для разведки и проложения маршрута. Союзные армии должны были встретиться неподалеку от Азовского моря и дальше идти вместе. Однако идея блокады Англии совершенно не устраивала людей из окружения императора. Многие из них были богатыми землевладельцами и капитал свой имели от торговли с Англией. Никто не желал лишаться привычного образа жизни из-за капризов императора, которым Наполеон так искусно манипулировал. Не желала прекращать торговлю с Россией и Англия. Корабли ее флота строились из русского леса, пушки отливались из русского чугуна, а канаты вились из дешевой и прочной русской пеньки. Блокада означала отмену стратегического экспорта. Англия не могла допустить этого.

Было видно, что Павел повторяет ошибки своего отца — Петра III, — который в свое время тоже решил круто переменить внешнюю политику. И ждала его та же, что и отца, участь. Его сын, 24-летний Александр, знал о заговоре. Условием, которое он поставил заговорщикам, было сохранить батюшке жизнь; лукавое, поскольку заведомо невыполнимое требование; никто из русских царей еще не оставался в живых после низложения.

Спальня Александра находилась под покоем Павла, и в ночь убийства он и его жена, великая княжна Елизавета Алексеевна, слышали все, что происходило наверху. Потом шаги и голоса стихли. Не добившись отречения, разгоряченные вином и страхом виселицы — заговорщики применили силу. Павел был избит и задушен шарфом. На трон взошел старший сын Александр.

Воцарившись, он не принял, как обещал некоторым из заговорщиков, «хартию» (конституцию, которая ограничивала бы власть императора). Наоборот, он удалил от двора и Палена, и Яшвиля, и Зубовых. Он не хотел править в окружении отцеубийц, хотя призраки страшной ночи долго напоминали о себе. «Знаете ли вы, что это за человек? — как-то воскликнул Александр, когда при нем упомянули Болховского. — Он схватил за волосы мертвую голову моего отца, бросил ее с силой оземь и крикнул: „Вот тиран!“»

В компании 1807 года русскую армию возглавил немец Беннигсен. Хотя он и участвовал в заговоре, но был тем полководцем, на которого Александр мог положиться. Немцы и вообще в большом количестве служили в русской армии. Иностранные военные инженеры, военные врачи и генералы объективно превосходили русских, многие из которых были записаны в службу детьми и получили высокие звания, не имея ни опыта, ни знаний. Десятки университетов Германии, в которых учились будущие военачальники, гордились многовековой славой, а в России университет был один и открылся всего полвека назад. К тому же иностранца на русской службе не «отягчали» родственные связи, и он занимался службой, а не протекциями.

В начале правления Александр был ориентирован на Запад, но только в идейном, просветительском, а не политическом плане. В первую голову он и Сперанский желали преобразовать Россию, а не участвовать в европейских войнах. План состоял в том, «чтобы посредством законов утвердить власть правительства на *началах постоянных*» (Сперанский). Что касается интересов страны внешних, имперских, то для Александра, как раньше для Екатерины, они лежали больше на Юге и Востоке, чем на Западе. Однако европейские державы искали российской поддержки в собственных распрях, и у России появился соблазн выгодно манипулировать этим.

Наполеон подступал все ближе к границам. Оккупировав Средиземноморье, он примеривался к Константинополю, на который давно нацелилась Россия. Он перекраивал границы Германии без учета интересов соседней империи. Когда он похитил и казнил герцога Энгиенского, стало окончательно ясно, что никаких международных норм и договоренностей для этого человека не существует. Бежавшие в Россию роялисты считали Наполеона продолжателем якобинского террора и врагом Просвещения, и Александр не мог не думать об этом. Он принял решение. Войну, в которой у России не было прямых интересов, он считал бескорыстной, а свою миссию миротворческой. Подобное заблуждение — относительно «высокого долга России» — было порождено не только идеями эпохи Просвещения о торжестве разума, а значит и мира, но и геополитическим положением империи. Огромные размеры и богатства России создавали иллюзию, что она может диктовать условия остальному миру. И тогда, и теперь это заблуждение дорого обходилось российскому народу.

Александр выступил в союзе с Австрией, жаждавшей вернуть утраченные территории, и Англией, которая участвовала в войне косвенно, то есть помогая субсидиями и «лендлизом»: современными нарезными ружьями, которые стреляли вдвое точнее и чаще французских мушкетов. Коалиционные войска и Кутузов провели против Франции несколько сдерживающих сражений, однако в решающей «битве трех императоров», которую мы знаем как «сражение под Аустерлицем» (1805) — союзники потерпели сокрушительное поражение. 28-летний Александр был настолько самонадеян, что отстранил Кутузова и сам возглавил русскую армию. Ему не терпелось реализовать численный перевес, который сложился накануне сражения у союзников. Император не хотел ждать, когда к коалиции примкнет Пруссия, чтобы не делить с ней славу. В том, что победа над Наполеоном ему обеспечена, он не сомневался. Его окрылял пример Петра Великого — после него Александр был первым императором, кто лично возглавил армию. Он согласился с атакующим планом австрийцев, и Кутузов, настаивавший на отступлении, не помешал ему.

Союзники спланировали обойти Наполеона с фланга и загнать в горы. Он без труда разгадал их намерение и даже позволил наполовину реализовать его. Тем самым был растянут и ослаблен центр — и в нужный момент Наполеон просто ударил по самому слабому месту. В ходе разгрома союзной армии в плену оказались восемь (!) русских генералов. При том что некоторые части отступали в боевом порядке, свита самого Александра рассеялась. Царь оказался брошен на произвол судьбы и бежал в сопровождении лейб-медика и нескольких гусар. Можно представить, сколько страха и стыда он натерпелся. В ночь, когда толстовскому князю Болконскому откроется ничтожность земной власти, император Александр рыдал под придорожным деревом. Он неудачник, ничтожество. Не царь великой страны, а мальчишка, опозоренный на всю Европу.

Для того, чтобы отомстить Наполеону за это унижение, чтобы взять реванш, — он пожертвует планами о преобразовании России. Спустя восемь лет он действительно осуществит свою мечту и войдет в Париж как победитель и миротворец, а вместе с ним войдет и поэт Константин Батюшков. Но каким долгим и страшным будет этот путь к победе над самим собой.

О том, что армия наголову разгромлена, в русском обществе толком известно не было. Наоборот, в газетах утверждалась духоподъемная мысль, что русские одолели «француза» с доблестью. Генералы и чиновники были осыпаны почестями. Самого Александра представили к ордену, от которого, впрочем, он предусмотрительно отказался, вместо Георгия (1-й степени как победитель) приняв лишь Георгия 4-й: как простой участник сражения. И тогда, и всегда желаемое в России часто выдавалось за действительное.

Следующий 1806 год был странным периодом — после Аустерлица русские и французы находились ни в войне, ни в мире. Ситуация переменялась с решением Пруссии. Условия, на которых она заключила с Наполеоном мир, были слишком унижительны, и в конце года Пруссия наконец примкнула к коалиции. Однако к тому времени, когда русская армия добралась наконец к театру военных действий, пруссаки уже ударили и были наголову разбиты Наполеоном при Йене и Ауэрштеде. География и несогласованность действий снова сыграли с Александром злую шутку. Когда его армия прибыла в Европу, он оказался в одиночестве перед лицом сильнейшего противника да еще у границ собственного государства. Больше никто не прикрывал русским спину. Император снова оказался в опасной ситуации. Опыт Аустерлица кое-чему научил его, и Александр принял крайнее решение. 30 ноября 1806 года он издает манифест «О составлении и образовании повсеместных временных ополчений или милиций». Он призывает усилить армию, противостоящую врагу на рубежах Отечества, гражданскими лицами. И тогда, и всегда в России за бездарную политику власти расплачивались простые люди.

Император призывал дворян формировать на свой счет бригады ополченцев и самим вступать в милицию, и 19-летний Константин Батюшков был одним из тысяч молодых дворян, кто на этот призыв чистосердечно откликнулся. Ему некого было выставить из крестьян, однако он мог пойти на войну сам. Несмотря на то, что «человек росту менее двух аршин двух вершков» признавался к службе не годным, Батюшков (двух аршин) был по протекции на службу принят.

Тем временем русская армия под началом Беннигсена хорошо воевала и даже закончила вничью битву при Прейсиш-Эйлау в феврале 1807 года. Но битва стоила большой крови, а восстанавливать армию было нечем. Беннигсен был хороший стратег и тактик, но не разбирался в логистике. Снабжение армии, которая воюет за тысячу верст от дома, оказалось никуда не годным. Литва и Белоруссия, окружавшие армию, были разорены французами и не могли обеспечить достаточно провианта, а курс бумажного рубля постоянно падал из-за инфляции. Положение усугубляли интриги внутри главного штаба — иностранцу Беннигсену, который даже не говорил по-русски, открыто мешали реализовывать военные замыслы.

Примерно в это время на театр военных действий выдвинулся батальон ополченцев-стрелков милиции от Санкт-Петербургской губернии. Батальон состоял из семисот человек, в разной степени плохо владевших оружием. Его прикрепили к лейб-гвардии Егерскому полку, вместе с которым он в феврале 1807 года отправился в Пруссию. Среди офицеров-егерей, назначенных ротными командирами ополченцев, был Иван Петин. Спустя несколько лет памяти этого человека Константин Батюшков посвятит элегию. Она станет одним из лучших стихотворений в русской поэзии, хотя сейчас, в 1807 году, Батюшков и Петин, пусть и находятся в одном военном формировании, даже не знакомы. Командир среднего звена, Батюшков не знает военного искусства и толком не владеет оружием. Ему кажется, что профессиональные военные (Петин) относятся к «воякам» вроде него снисходительно.

В поддержку царского манифеста Священный Синод выпустил объявление, причислявшее Наполеона к воинам Антихриста. Духовенство обязывалось зачитывать объявление в храмах на праздниках. Текст составил митрополит Платон, чью речь на восшествие императора пять лет назад переводил юный Батюшков. «Неистовый враг мира и благословенной тишины, — писал Платон, — Наполеон Бонапарте, самовластно присвоивший себе царственный венец Франции и силою оружия, а более коварством распространивший власть свою на многие соседственные с нею государства, опустошивший мечом и пламенем их грады и селы, дерзает в исступлении злобы своей угрожать свыше покровительствуемой России вторжением в ее пределы... и потрясением православной греко-российской Церкви во всей чистоте ее и святости...»

Примерно в то же время Батюшков пишет письмо отцу в Даниловское, в котором сообщает о принятом решении (вступить в армию). Письмо написано взволнованным слогом, видно, что его пишет человек отчаявшийся, но своего решения не поменявший. Батюшков, единственный наследник фамилии, собирался воевать без родительского благословения. Он не спрашивает отца, а ставит в известность. Понимая оскорбительность такого поступка, Батюшков заранее просит прощения («Я должен оставить Петербург, не сказавшись вам, и отправиться со стрелками, чтоб их проводить до армии. Надеюсь, что ваше снисхождение столь велико, любовь ваша столь горяча, что не найдете вы ничего предосудительного в сем предприятии. Я сам на сие вызвался и надеюсь, что государь вознаградит печаль и горесть вашу изливанием к вам щедрот своих. Еще падаю к ногам вашим, еще умоляю вас не сокрушаться. Боже, уже ли я могу заслужить гнев моего ангела-хранителя, ибо иначе вас называть не умею!»).

Не смея просить отца, юный Батюшков на свой страх и риск занимает у петербургского ростовщика тысячу рублей под 20% годовых. Этот вексель впоследствии перейдет к «купецким сыновьям» Дмитриевым, которые и впредь будут ссужать Батюшкова небольшими суммами.

Вряд ли можно указать какую-то одну причину, подтолкнувшую Батюшкова к столь радикальному решению. Во-первых, поступить так предписывала честь, подтвердить которую Батюшков желал со всей пылкостью молодого дворянина. Рассчитывать на помощь государя в трудную минуту было в порядке вещей — вспомним Николая Львовича Батюшкова, который напрямую обращался к Павлу за денежной субсидией. Но рассчитывать на дворян мог и сам император. Он освободил их от воинской повинности, но ждал поддержки в трудную для Отечества минуту. Оказать эту поддержку было делом чести для представителя любого дворянского рода, а тем более старинного, к которому принадлежали Батюшковы. Предки поэта состояли на государственной службе с XVI века и гордились этим. Записываясь в ополчение без ведома отца, Батюшков мог рассчитывать на родительское снисхождение.

Во-вторых, Батюшков пишет, что «государь вознаградит печаль и горесть вашу изливанием к вам щедрот своих». Это значит, что он рассчитывает отличиться на войне и тем самым поддержать отца. За участие в ополчении Батюшкову, как сотенному, полагаются четыреста рублей в год и тридцать целковых на денщика.

В-третьих, вот уже пять лет как Батюшков служит в столице, но время уходит, а ничего не меняется. Он по-прежнему никто, «елистратишка». Мелкий чиновник из тех, отношение к которым в обществе — презрительное. Другое дело офицер, мундир, слава. В военное время служба в армии была самым эффективным способом продвижения по служебной лестнице. То, на что Батюшков мог рассчитывать годами, можно было заслужить за одно сражение. Правда, ставкой была — жизнь, но какой молодой человек не желает риска, чтобы покрыть себя славой да еще перескочить в Табели о рангах?

В-четвертых, и это самое главное, к 1806 году Батюшков мог почувствовать, что круг его литературных тем исчерпан; что его голосу нужен

новый материал. Обычно молодой поэт напрямую не сознает потребности в новом материале. Однако именно бессознательный поиск этого материала подталкивает принять решение, которое к поэзии вроде бы не имеет касательства.

Ну и, в-пятых, война была хорошей возможностью посмотреть мир.

«Я чай, твой Ахиллес пьяный, — пишет Батюшков Гнедичу из похода в марте, — столько вина и водки не пивал, как я походом. Пиши ко мне хоть в стихах; Музы меня совсем оставили за Красным Кабаком. Дай хоть в Риге услышать отголосок твоего песнопения». «Красным Кабаком» назывался трактир на десятой версте Петергофской дороги, где «подавали» вафли, музыку и катание с горок. Дальше начиналась «прескучная дорога». К письму, которое написал Батюшков, прилагался экспромт, заканчивающийся «клячей величавой», на которой поэт «пустился кое-как за славой». Это было первое из сохранившихся писем Батюшкова Гнедичу. Ахиллеса Батюшков вспоминает к тому, что Гнедич уже принялся за перевод «Илиады». Он ждет от друга новых строчек. Другой дорожный экспромт получил от Батюшкова сын Оленина (Николай) — о поэте, «которого судьбы премены / Заставили забыть источник Иппокрены». Пришло время, иронизирует поэт, «не перушки чинить, но чистить лишь копые» и «приняв солдатский вид суровой, / Иттить, нахмурившись, прескучною дорогой».

Тогда Батюшков не мог и представить, куда эта дорога его приведет.

В пределах России поход следовал по маршруту Санкт-Петербург — Нарва — Дерпт — Рига — Митава — Юрбург. Большую часть времени ополченцам приходилось жить в полевых условиях. Ночевали в деревнях — в домах разного достатка и дружелюбия, или под луной, которая «низкий мой шалаш сквозь ветви освещала» («Воспоминание»).

В ожидании передислокаций, между батальонными учениями и смотрами, офицеры проводили время за пьянством, развратом и картами. Самым популярным напитком был ром, из которого варили пунш или пили так. Его покупали втридорога у «жидов», и часто «паленый», то есть картофельную сивуху, а не ром. От скуки и пьянства вытворялись разные «бесчинства». Желая проверить, например, быстро ли солдаты встанут по тревоге, один офицер заставил бить среди ночи в барабаны, да так, что поднял чуть ли не всю дивизию, которая почти снялась с места в сражение. Подобный проступок наказывался недельным арестом, а случаи бытового антисемитизма (рукоприкладство и грабеж местного населения) не наказывались никак. Впрочем, офицеры часто наказывали себя сами. Так, один отправился ночью в соседнюю деревню за выпивкой, но был так пьян, что по дороге уснул в кибитке и был убит и ограблен неизвестными.

Полковые будни кое-как оживлялись, когда через деревни проезжал император. Другим отвлечением от скуки было купание в речках и женщины легкого поведения. Почти в каждом крупном населенном пункте был трактир, где по вечерам сходились офицеры расположенных поблизости батальонов. Как правило, при трактире находился публичный дом. Если публичного дома поблизости не было, «девок» заказывали хозяйину «квартиры», и тот доставлял их офицерам прямо к столу.

Большая и не всегда сытая армия, да еще вдали от родины — идеальная почва для всевозможных «негодий». «Явились две продавщицы фруктами, сахаром и ромом, — заносит в дневник офицер Василий Григорьев, участник похода, — что все и было у них куплено, а как в корзинках для продажи более не было, то принялись за собственный их товар. Дурных последствий, в таких случаях бываемых, со мною не было, полагаю оттого только, что я тотчас окупался в струях реки Аллера».

Батюшков ничего не пишет о том, как проводил армейские досуги. Надо полагать, он не хотел ни в чем отставать от старших товарищей.

Однако упоминание о нем все же существует, и оно сохранилось в том же дневнике Василия Григорьева (от 2 марта) — тем удивительное, что совершенно случайное: «2-го. Роздых, — пишет он, — я обедал у наших офицеров Хрущева и Батюшкова, после играли в карты, и я остался в выигрыше 20 червонных».

До сражения оставалось три месяца.

После первого раздела Польши в 1772 году Гейльсберг (тогда Лидзбарк-Варминьски) отошел к Пруссии. До наших дней в этом городе прекрасно сохранилась средневековая планировка, фрагменты крепостных стен и грозная громадина замка епископа. В одной из башен замка Николай Коперник, племянник своего дядюшки (епископа), написал «Комментарии о гипотезах».

Надо полагать, на другого племянника своего дядюшки, на Батюшкова, город произвел впечатление. В дороге он бранил немцев со всем высокомерием человека, который первый раз выбрался за границу. «Уроды», «чудаки», говорит он в письмах. «Ни души, ни ума у этих тварей нет». Однако в Гейльсберге все могло перемениться. От нищих и унылых «жидовских» деревенек здесь не осталось и следа. Средневековье, которое Батюшков знал из книг, в Гейльсберге можно было не только увидеть, но и потрогать. В камнях заключалось время, настоящую глубину которого поэт испытывал впервые. Подобных гейльсберговским древностей в России попросту не существовало.

Гейльсберг стоял на краю Восточной Пруссии. До Гданьского залива отсюда было около ста километров, до Кенигсберга, через который снабжалась русская армия, — меньше девяноста. Сейчас это снова польский город Лидзбарк-Варминьски.

Прейсиш-Эйлау, где в феврале русская армия и Беннигсен уже бились с Наполеоном, находился всего в сорока километрах от Гейльсберга. Сейчас это пограничный с Польшей Багратионовск, мало что сохранивший на своих улицах от того времени. Исход войны тогда не решился, и после весенней распутицы армии должны были сразиться снова и почти на прежнем месте. Генеральному сражению под Гейльсбергом предшествовали тактические бои под Гуттштадом.

В ходе операции под Гуттштадом Беннигсен решил загнать в ловушку и разгромить отдельный корпус маршала Ней. Он хотел сделать это посредством согласованных ударов дивизий, шедших на Ней с разных направлений. Однако дивизия под командованием другого остзейского немца, барона Ф. В. Остен-Сакена, опоздала к сражению, и Ней вырвался из западни. Взбешенный Беннигсен обвинил барона в саботаже. В ответ Остен-Сакен пожаловался, что приказы Беннигсена носят противоречивый характер. Беннигсен требовал расследования. Процесс затягивался в виду того, что у каждого при дворе были свои «группы поддержки»; только через год трибунал вынес решение, и оно было не в пользу Остен-Сакена.

Под Гейльсбергом Беннигсен расположился на двух берегах Алле, хорошо укрепившись по центру возле города. Он ждал Наполеона по правому берегу, но тот направил авангард Мюрата по левому, чтобы отрезать русских от Кенигсберга. Беннигсен бросил на левый берег Багратиона, и после некоторого отступления русские отбили от Мюрата и закрепились. Мюрат дождался Сульта и вместе с 30 000 его солдат снова атаковал. Беннигсен отправил на помощь Багратиону 25 эскадронов кавалерии Уварова. Русские снова отступили и закрепились под самыми стенами города. Мюрат не смог взять укрепления и с тяжелейшими потерями отступил. К этому времени (около пяти вечера) на поле боя появился Наполеон. Но ни по центру, ни с фланга ему не удалось переломить ход сражения в свою пользу. Редуты, не-

сколько раз переходя из рук в руки, к вечеру остались за русскими. Последний штурм, в который Наполеон бросил корпус Нея (около десяти вечера), тоже не принес результата. На поле сражения опускалась белая балтийская ночь. По мере того как артиллерийский огонь стихал, все громче слышались стоны. В деревенском сарае, на соломе среди раненых и уже отмучившихся — сотенный командир Константин Батюшков истекал кровью. Он думал, что рана смертельна, и прощался с жизнью.

Двух аршинов роста, subtilный, в большой черной фетровой шляпе с петушиным султаном, с саблей на боку, которая едва не волочилась по земле, — в армии он представлял комическое зрелище. В его обязанности входило расквартировать и накормить подопечных, а также командовать в ходе сражения. Под Гейльсбергом сотню Батюшкова бросили вместе с егерями отбивать редуты. Схватка необстрелянных ополченцев с матерыми наполеоновскими солдатами была кровавой, а малорослые егеря дрались «даже с остервенением». Когда редут отбили, Батюшкова обнаружили под мертвыми телами. Он лежал без сознания с простреленной ногой — беспомощный, как раненая канарейка. Его переправили через реку, где находились перевязочные. Ночь после битвы он провел на соломе. Из палаток доносились стоны и крики, это работали санитары: резали, зашивали, отпиливали. Кто-то молился, кто-то стонал; просили водки; священники причащали.

В Пруссию Батюшков ехал на «рыжаке по чистым полям» и чувствовал себя «счастливее всех королей» — но теперь от этого счастья осталось только изумление. Смерть прошла в нескольких сантиметрах, но маленькому человеку, скорчившемуся на соломе, еще предстояло осознать это. Ни в одном из сохранившихся писем он не говорит, что чувствовал, однако после Гейльсберга меняется сам тон его писем. Бравяды и юмора больше нет, а грязь и кровь, которой были одинаково испачканы и русские, и французы, в письме не расскажешь. «Я жив, — напишет он Гнедичу из Риги. — Каким образом — Богу известно. Ранен тяжело в ногу на вылет пулею в верхнюю часть ляшки и в зад». Вот и все подробности. Батюшков просит Гнедича писать обо всем, кроме дурных известий; ибо у него, «как у модной дамы», теперь «нервы стали раздражительны». Он чувствует пропасть между тем, что он есть, и тем, что он был, и не может подобрать слов. Коллег по цеху он высокомерно называет «ваши» («ваши братья стихотворцы»). Равнодушие смерти к жизни; превращение живого человека в машину по истреблению другого человека; неразборчивость смерти к таким машинам — ее обезличенность и случайность — поразили Батюшкова. «Крови как из быка вышло», — с изумлением пишет он Гнедичу. «Ничто так не заставляет размышлять, — прибавляет он, — как частые посещения госпожи смерти».

Тот, кто вернул Батюшкова на землю, был Иван Петин. Он тоже был ранен, но легко и оставался на ногах. В палатках, куда укладывали перевязанных, оказалось и несколько раненых французских офицеров. Русские охотно делились с ними едой и водкой. Близость смерти словно уравнила врагов, и они праздновали новое рождение, нарочно громко разговаривая и даже отпуская шутки. Однако Петин, войдя в палатку, немедленно выгнал французоз. На замечание Батюшкова, что благородному человеку не стоит поступать таким образом, он ответил: вы делите хлеб с врагами, а на берегу умирают сотни русских. Это подействовало на Батюшкова отрезвляюще. Его судьба, разделенная в тысячах таких же, а чаще куда более страшных судеб, больше не вызывала ни жалости к себе, ни восхищения. В реальности войны подобным чувствам просто не оставалось места.

Через несколько дней после Гейльсберга Наполеон разгромил русскую армию под Фридландом, а меньше чем через месяц Александр заключил с

Францией мир в Тильзите, ныне российском городке Советске Калининградской области. Тогда же по церквям России полетит распоряжение не анафемствовать более Бонопарта, ибо «их величества императоры на Немане обнимались и обменялись орденами».

Русскому народу предлагалось самостоятельно объяснять себе столь чудесное превращение, и ответ быстро нашелся, простодушный и оригинальный одновременно. «Когда узнали в России о свидании императоров, — вспоминал Петр Вяземский в «Старой записной книжке», — зашла о том речь у двух мужиков. „Как же это, — говорит один, — наш батюшка, православный царь, мог решиться сойтись с этим окаянным, с этим нехристом? Ведь это страшный грех!“ — „Да как же ты, братец, — отвечает другой, — не разумеешь и не смекаешь дела? Наш батюшка именно с тем и велел приготовить плот, чтобы сперва окрестить Бонапартия в реке, а потом уж допустить его пред свои светлые царские очи”».

Вяземский называет наши войны с Наполеоном «несчастливыми». Действительно, ни ловких демаршей, какими прославился Суворов, ни прямых экономических выгод эти войны не принесли. Цена, которую Александр заплатил за сохранение Пруссии как государства (к тому времени оккупированной Наполеоном), была та же: Россия примыкала к санкционной войне с Англией. С момента подписания мира все ее порты стали закрыты для торговых судов этой державы.

Российская знать отнеслась к союзу с Францией в большинстве своем отрицательно. Если уж кого и было брать в союзники, считали они, то Англию, чья экономика, промышленность, судопроизводство и банковское дело сильно опережали Европу. Торговля с Англией обеспечивала российской элите богатейшую культуру повседневности, и эти люди не собирались от нее отказываться. Без сверхприбылей, считали они, Россия скатится в допетровскую азиатчину.

Против союза с Францией выступали и те, кто составил имя и капитал еще при Екатерине. Эти «старорусские патриоты» обвиняли Александра, что он пожертвовал армией ради сохранения Пруссии, и выступали за полную самоизоляцию России. Вельможи вроде графа Румянцева не могли взять в толк, зачем Россия вмешивается в дела Европы. Фантазии императора о всеобщем братстве (и «безрассудная страсть» к прусской королеве Луизе) — дорого обходятся стране, считали они.

Для российской экономики мир с Францией предвещал кризис. Но и война влекла за собой кризис тоже. Содержание огромной армии вдалеке от дома разоряло казну, рубль обесценивался. Это был выбор из двух зол — с тем преимуществом, что мир позволял кое-как сохранить лицо и восстановить армию. В том, что главная битва с Наполеоном впереди, мало кто сомневался.

Франкофобия, поразившая русское общество после Тильзита, была тем нелепее, что высший свет ел французское, говорил на французском, одевался во французское, французское читал, слушал, играл и пел. И тогда (и всегда) страна назначала главным врагом того, от кого больше всего зависела. Но что *свое* могла противопоставить Франции Россия, кроме «патриотизма», в котором захлебывался «Русский Вестник» Глинки? Если даже историю России Карамзину только предстояло написать? Не шишковский же «кафтан» вместо «сюртука», и не тюрю вместо профитролей?

Тень убитого Павла зловеще падала на его сына — Александра. Павел был убит при схожих (замирение с Францией) обстоятельствах. Однако дипломаты сообщали Наполеону, что опасаться дворцового переворота не стоит. Великий князь Константин, который взшел бы на престол в таком случае, устраивал российских «олигархов» еще меньше, а средний брат Александра слишком походил на отца. Как и Павел, он был подвержен сменам настроения, а в приступе гнева мог прилюдно оскорбить или унижить. Младшие же братья — Николай и Михаил — были еще детьми.

К блокаде Англии нужно было принудить Швецию, и по мирному договору Александр обязывался сделать это. Среди «бонусов», которые Россия получала по «тильзитскому сговору» с Наполеоном, была аннексия Финляндии, лежавшей на пути к шведам. Александр заинтересовался сделать из Финляндии «буферную» зону на северном направлении и стал планировать поход. Это будет вторая война, на которую отправится Константин Батюшков.

Однако в то время, когда Европа в очередной раз переворачивалась с головы на ноги, Батюшков с трудом переворачивался с боку на бок. Июль месяц он провалялся на излечении в Риге. Его расквартировали в доме купца Мюгеля. Никаких сведений об этом купце нет, поэтому все, чем мы располагаем, это письмо самого Батюшкова (с рисунком на костыле, который потом очутился в Даниловском) — и пара стихотворений, хоть и отсылавших к конкретной истории, но ничего реального не сообщавших о ней. Все, что мы знаем, очевидно как союз Эроса и Танатоса — в Риге чудом избежавший гибели Батюшков влюбился.

Почему он не женился, почему не увез дочку купца в Россию? В подобном поступке не было бы ничего сверхъестественного. Добрый пушкинский знакомец Павел Вульф, например, привез из военного похода гамбургскую немку и женился на ней, и Батюшков мог поступить так же, тем более что браки с инославцами были разрешены Синодом. Так почему же он не сделал шаг, который в юности делается с такой легкостью, особенно если ты был на краю гибели и чувствуешь, что влюблен взаимно и по-настоящему? Для немецкого купца Батюшков был представителем русской знати, которая славилась роскошью. Он мечтал бы выдать дочку за помещика и рабовладельца, да еще отправить в Петербург. Однако Батюшков не сделал предложения. В его «Воспоминании» даже сквозь поэтические штампы видно, что романтические отношения между молодыми людьми, мягко говоря, наметились («Соединив уста с устами, / Всю чашу радости мы выпили до дна...»), или «Куда девались восторги, лобызанья / И вы, таинственны во тьме ночной свиданья, / Где, заключа ее в объятиях моих, / Я не завидовал судьбе богов самих!..»). Видно, эта самая Эмилия Мюгель влюбилась тоже. Подле раненого офицера она, как Наташа Ростова, увидела мир другими глазами. Наверное, Эмилия была бы не против уехать, но что мог предложить Батюшков своей возлюбленной, кроме объятий в ночном саду? Ни дома, ни настоящей службы в Петербурге у него не было, а приехать в Даниловское с наложницей он не хотел, да она и не согласилась бы. Батюшков жил на то, что ему присылали родственники, и знал, с каким трудом даются деньги; к тому же сестрам Варваре и Александре нужно было выходить замуж; содержать еще и свою семью Батюшкову было бы просто не на что; он был честен с собой и не стал втягивать девушку в авантюру.

Когда Батюшков уезжал из Риги, семейство Мюгелей рыдало. Они успели привыкнуть к маленькому солдату, который жил с ними под одной крышей. Возможно, он обещал девушке вернуться, когда положение его перестанет быть шатким; возможно, девушка с веснушками ждала его какое-то время — писем не сохранилось. Все, что мы знаем, это что в России на Батюшкова обрушилось столько забот, что он, скорее всего, просто перестал думать об этой истории как о реальной возможности — и перевел ее в область поэтическую. Наверное, какое-то время он чувствовал себя виноватым и раскаивался, и жалел ее, но еще больше — себя, что упустил счастье. В стихах, которые он напишет спустя годы, это будет хорошо слышно. Со временем чувство утраты только усилится. Младший современник Батюшкова (Боратынский) утверждал, что «Болящий дух врачует песнопенье», но Батюшков был человеком души и сказал по-другому: «О память сердца! Ты сильнее / Рассудка памяти печальной».

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Усадьба и сельцо Хантаново лежат в тридцати верстах от Череповца, если ехать в сторону Пошехонья и Вологды по левому берегу Шексны. С главной дороги нужно свернуть на проселочную, переехать по полуразрушенному бетонному мосту ручей-речку Мяксу, где когда-то «бабы подолами шук ловили», и подняться на длинный и пологий гребень холма, обрамляющего левый берег. Усадьба и парк находились на этом гребне.

До Шексны отсюда было шесть верст, и можно вообразить, как хорошо ее серебряная жила просматривалась из окон усадьбы. В советское время пойменные земли ушли под затопление, и та часть Шексны, которую видел Батюшков, растворилась в Рыбинском водохранилище. Теперь с пустого холма открывается вид на огромное водяное зеркало; от места, где стоял дом, до воды — рукой подать.

Главный дом стоял на самой высокой точке гребня, а внизу тянулся бескрайний, уходящий за горизонт лес, за которым пряталась Вологда. Когда-то Шексна называлась Шехонь, а земли вдоль ее берегов — Пошехонье (по реке Шехони). Современному человеку топоним этот знаком по «пошехонскому сыру», советскому «деликатесу», который производился на заводе в городе Пошехонье, и сборнику рассказов Щедрина «Пошехонская старина».

Байки про то, как пошехонцы с колокольни на Москву смотрели или варили похлебку из воды и камня, как вырывали у Фалалейки зуб таким способом, «что не всякий согласится», — во времена Батюшкова собрал Василий Березайский. Книга называлась «Анекдоты, или Веселые похождения старинных пошехонцев», от нее-то Щедрин и отталкивался, когда писал свою «Старину». В общем, с легкой руки писателей Пошехонье стало символом неугомонной, не лишенной обаяния провинциальной глупости. Батюшковы были *пошехонскими помещиками*.

От главного дома вниз по трем искусственным уступам спускались к прудам дорожки. Спуск занимал несколько сотен метров, и если прогулка на пруды была приятной и легкой, то подъем к дому требовал, надо полагать, физических усилий. Пройдя от прудов (они сохранились) вверх на холм, можно ощутить усталость, какую ощущал Батюшков, когда возвращался после купания. Для отдыха на этот случай была предусмотрена беседка. В окружении цветников, с панорамным видом на Пошехонье, она станет излюбленным местом поэтических досугов Батюшкова. Он будет здесь буквально по словам песни: «Fool on the hill»¹. А комаров, которые могли бы спугнуть вдохновение, на холме сдувало.

Когда сестры Батюшкова Александра и Варвара переселились из Даниловского в пошехонское Хантаново, заброшенный усадебный дом находился в полуразрушенном состоянии и требовал даже не капитального ремонта, а — реконструкции. Первые годы, что сестры проживут здесь, пройдут на фоне бесконечной стройки. Участие в ней поэт Батюшков принимал чаще заочно — в письмах. Однако сестры Александра (22-х лет) и Варвара (15-ти) самоотверженно справятся с задачей.

Новый одноэтажный дом будет иметь два крыльца, переднее и заднее, один, отдельно стоящий флигель (для брата Константина) — и семь «поек». Он будет обшит тесом в «елочку» и окрашен синей краской. Семнадцатью окнами в резных наличниках дом будет смотреть на свет. Для отопления в нем устроят пять кирпичных печей, а две печи будут кухонными, людская и господская: с котлом и чугунной плитой.

Поднявшись на пустой холм сегодня, можно попробовать вообразить и крестьянские избы. В них жили семьями дворовые — те, кто обслуживал

¹ «Чудак на холме» (англ.) — песня группы «Битлз».

барское хозяйство. Эти избы назывались черным двором, а господский дом и парк — белым. На самом высоком из трех уступов, на макушке холма то есть, начиналась липовая аллея, защищавшая дом от ветра. Она виднелась еще на подъезде к Хантанову — до 1941 года, когда липы были спилены. А по сторонам расходился сад с акациями, сиренью, орешниками и белыми розами. Вообще, цветов было высажено в усадьбе очень много, женская рука в парковой эстетике прекрасно чувствовалась. Уже при советской власти, когда усадьбу и сад уничтожили, а землю под ними распахали, старожилы долго помнили цветочное изобилие.

Вокруг главного дома стояли хозяйственные постройки. По ним хорошо судить о повседневной жизни, которая окружала поместных дворян средней руки. В усадьбе были: овчарная изба и при ней хлев с погребом, скотный двор и скотная изба, омшаник (где доили коров и хранили молоко), каретник и при нем три хлева, три овина, где снопы сушили, и гуменник (где хлеб молотили), сарай для мелкой скотины и птицы, хлебный амбар, где хранились рожь, овес, ячмень и семенной клевер, и две ветряные мельницы, крытые соломой. Такие мельницы назывались «толчея». Представить такое хозяйство можно по картинам Венецианова, жившего примерно в то же время по-соседству с Батюшковыми в Тверской губернии.

Количество дойных коров у сестер Батюшковых доходило до 20, а лошадей было четыре, не считая жеребцов: два мерина и две кобылы. Дворовых людей, живших на *черном дворе*, в разное время насчитывалось не больше десяти человек, всего же крепостных душ за владелицами Хантаново — не больше 60-70. После смерти сестры поэта Александры, которая сойдет с ума и проживет на руках у дворни больше десяти лет, хантановское хозяйство оценят в 5900 рублей.

Из Даниловского в Хантаново две незамужние сестры перебрались не по доброй воле. Когда Батюшков вернулся из Риги, когда его костыли и разбитое сердце очутились наконец под крышей родного дома — он обнаружил в доме ссору.

Причиной расстройств оказался глава семейства Николай Львович, неожиданно для всех женившийся вторым браком. Женой 52-летнего Батюшкова стала дочь соседа-помещика Теглева — Авдотья Никитична. Об этом семействе мало что известно. Первый биограф Батюшкова — Л. Н. Майков — пишет со слов Помпея Батюшкова, что мать его относится к «старинным дворянским родам Вологодского края». Как правило, такие роды вносились в шестую часть Дворянской родословной книги. Однако родной брат Авдотьи Никитичны, например, числится в первой части. Это означает, что предки Теглевых стали дворянами не ранее XVIII века. Для сравнения род Батюшковых (и Бердяевых по матери) числился во дворянстве со времен Ивана Грозного.

С переездом Теглевой под крышу Даниловского в усадьбе все переменялось. Много младше мужа, она с усердием взялась за имение. Молодая хозяйка хотела переменить жизнь в усадьбе на свой лад — в том числе чтобы получать наконец от имения прибыль.

Неизвестно, каковы были ее конкретные планы, но, скорее всего, они шли вразрез с укладом дочерей Николая Львовича, живших с отцом одним хозяйством. А тут новая метла, новые порядки. И они приняли решение. От отца, который теперь полностью зависел от «самой бесчувственной женщины», они (вместе с братом Константином) решили, пока не поздно, отделиться.

Опасаться было чего — в случае смерти немолодого уже Николая Львовича все имущество Батюшковых по отцовской и материнской линиям переходило во владение его жены Авдотьи Никитичны, а дети от первого брака оставались как бы ни с чем. Чтобы этого не произошло, следовало срочно разделить движимое и недвижимое имущество Батюшковых, пере-

писать на детей разделенное и уехать из Даниловского. Но куда? Такая возможность имелась благодаря «материнскому капиталу». От Бердяевых, к роду которых принадлежала мать поэта, ей досталось в приданое несколько деревень, среди которых числилось и то самое Хантаново. Однако бердяевские деревни были заложены Николаем Львовичем еще двадцать лет назад и до сих пор не выкуплены. Они находились в секвестре, никаких операций по продаже, завещанию или дарению произвести с ними было невозможно до полной уплаты долга.

Старший Батюшков заложил имения, когда жил в Петербурге. Это была другая, позапрошлая жизнь, наполненная другими горестями и надеждами. Однако в новой, третьей с того времени жизни, которую собирался начать с новой женой Николай Львович, эхо позапрошлой жизни раздавалось слишком отчетливо. *Тогда* деньги ушли, чтобы лечить Александру Григорьевну и дать воспитание младшим детям Константину и Варваре. *Теперь* «дети» собирались стать независимыми от родителя и при живом отце искали опекуна.

Опекун требовался для свершения сделки. Парадокс законодательства того времени заключался в том, что ты мог служить по гражданской или воевать в армии и даже командовать армейскими подразделениями, ты мог быть убитым или вознагражденным — но до 21 года оставался недееспособным. А осенью 1807 года, когда затевался раздел, Батюшкову было только двадцать. Герой Гейльсберга, едва не отдавший жизнь за царя и Отечество, он не имел права ставить на документах подпись. Его опекуном стал Абрам Ильич Гревенс, муж старшей сестры Анны.

Чтобы разделить имущество, требовалось его для начала выкупить. Долг с процентами за десять лет вырос в несколько раз, таких денег у Николая Львовича не было. Чтобы избавить Авдотью от пасынка и падчериц, нужную сумму (50 тысяч) внес ее отец, тесть Николая Львовича — помещик Никита Теглев. Это была форма приданого. Теглев платил, чтобы его дочь стала не только женой Батюшкова, но и полноправной *хозяйкой* в доме. Спор между отцом и детьми был, таким образом, разрешен. Сестры съехали в Хантаново. Авдотья Никитична Батюшкова ждала ребенка (будущего Помпея) в наконец-то опустевшем, *своем* доме.

Насколько мирным и безболезненным был этот раздел — мы не знаем, скорее всего, и не мирным, и не безболезненным. Отношение сестер к матеке было предсказуемо отрицательным. В свою очередь отец в письмах жалуется Батюшкову на некие «наветы» и клевету, да и сам Батюшков вспоминает в письмах того периода «сплетни и пивяницы». Скорее всего, «наветы» исходили от семей старших сестер Анны и Елизаветы, обеспокоенных судьбой младших, и от родственников по матери Бердяевых — которые не желали видеть своих близких пущенными по миру брачным сумасбродством Николая Львовича. История была рядовая и бытовая, но крайне неприятная. Она чуть не перессорила детей с отцом. Одно время отношения были натянутыми настолько, что поэт Батюшков обращался к отцу в письмах исключительно официальным образом. Однако умелое и быстрое финансовое «вливание» со стороны Теглевых полностью исчерпало конфликт. «Оставь, мой друг, — уже в июне 1808 года пишет отец сыну, — вперед писать мне: государь Батюшка. Пусть будет по-прежнему, и тогда-то вознесенный на меня меч клеветниками многими обратится на главу их. А я тебе клянусь, что с моей стороны все забыто и предано в архив забвения».

Вторым ударом, который обрушился на бедную голову Батюшкова, была смерть Муравьева. Когда Батюшков уходил в поход, дядюшка болел, известие же о «позорном» Тильзитском мире свело его в могилу. Печальную новость донес до Батюшкова Николай Гнедич. В силу объективной медлительности почты того времени письма не успевали за ходом жизни.

В послании Гнедича это хорошо видно. Адресованное в Ригу в ответ на письмо Батюшкова, письмо Гнедича нашло Батюшкова только в Даниловском. В нем Гнедич отвечает на просьбу Батюшкова немедленно ехать в Ригу. Тогда, два месяца назад, Батюшков выздоравливал на руках у девицы Мюгель и был в состоянии эйфории. В письме он призывал Гнедича осуществить невозможное, то есть — «обняться» в Риге. В его понимании сердечная дружба подразумевала подобные жесты, тем более если ты вернулся с того света. Но в то время (лето 1807 года) Гнедич еще не поступил на службу в библиотеку и жил в крайней нужде. В письме он первым делом жалуется на бедность — его обокрал служивший у него мальчишка — и теперь «едва имею чем заплатить за это письмо». «Ибо и тебе должно плакать, — меняет он тему, — ты лишился многого и совершенно неожиданно — душа человека, так дорого тобою ценимого, улетела: Михаил Никитич 3-го числа июля скончался». «Горько возрыдают московские музы! — продолжает Гнедич. — Где от горестей укрыться? Жизнь есть скорбный, мрачный путь!»

Гнедич был театрал и часто говорил цитатами из какой-нибудь высокопарной французской драмы. Так выражались его «чувствительность» и «сердечный отклик». К тому же Гнедич пишет в Ригу, но Батюшков уже два месяца как живет другой жизнью. После Риги, не заезжая в Петербург, он возвращается в Даниловское и теперь меж двух огней: отцом и сестрами. Он проводит время в постоянных имущественных хлопотах — в разъездах между Устюжной, Вологдой и Даниловским. Однако за внешней суетой и деловитостью — внутреннее растерянность. Что теперь делать, как и где жить дальше? С новой семьей отца в Даниловском? Невозможно. С сестрами? Но они только затевают перестройку дома в Хантанове. В Петербурге? Но где и, главное, кем? Со смертью Муравьева он лишился не только близкого родственника и поэта-наставника, но могущественного покровителя. Содержать большой дом, подобающий петербургскому сановнику, Муравьевым стало дорого и бессмысленно. Вдова Екатерина Федоровна перебралась в Москву, чтобы дети поступили в Университет, попечителем которого был ее покойный муж. Больше никто не ждал Батюшкова в столице, а на приятелей-поэтов рассчитывать было нечего. Многие из тех, с кем он общался до войны, сами едва сводили концы с концами.

Вариант, который он выбирает, сам просится в руки. В разгар семейной ссоры (осенью 1807 года) выходит указ Александра I о роспуске Ополчения и формировании на основе его подвижных частей лейб-гвардии егерского полка. И Батюшков вслед за сестрами тоже принимает решение. Как деятельный участник Ополчения, он просится в этот полк прапорщиком. В армейской службе он видит единственный выход. Она дала бы ему не только продвижение по служебной лестнице, но и возможность жить в Петербурге, быть в центре литературной жизни. И он едет в столицу хлопотать о переводе. После Гейльсберга Батюшков считает, что может рассчитывать на армию. К тому же теперь он не просто участник ополчения, но кавалер ордена Святой Анны 3-й степени и золотой медали участника Земского войска.

«...При верном случае могу к тебе выслать медаль, к которой я большую цену приписываю, особливо когда она висит на георгиевской ленте, как у тебя, с надлежащим свидетельством почтенного Старика нашего. — Вот она, прошу любить да жаловать. — Теперь дело-то раскусили. Сперва от нее рожу отворачивали, — а теперь всякой ее хочет иметь, не можем от просьб избавиться». Это пишет Батюшкову Алексей Оленин через год после сражения (лето 1808). Старик — генерал Татищев, возглавлявший Петербургское ополчение, а

медаль — Земского войска. Эта золотая медаль (была еще и серебряная, «солдатская») носилась на георгиевской ленте в знак награды за совершенный в сражении подвиг. Тогда же Батюшков был награжден и орденом Святой Анны. История этого ордена по-своему удивительна. Он был учрежден в 1735 году герцогом Шлезвиг-Гольштейн-Готторпским (Карлом Фридрихом) в память об умершей супруге Анне, дочери Петра Первого. Их сын Карл Петр Ульрих, приехавший в Россию наследником престола (будущий император Петр Третий), привез с собой орден. Втайне от тетушки, сестры своей покойной матери — императрицы Елизаветы, — он вручал орден только преданным ему людям. Чтобы орден оставался в тайне, его носили на рукоятке сабли, точнее, на внутренней стороне сабельной чашки. Такой укромный, красного цвета, значок ордена называли «клюквой». В то время орден имел одну степень. Его понемногу вручали и при Екатерине, но лишь с воиновством Павла, сына Петра Третьего, орден сравнялся с прочими. Тогда же учредили и три его степени. Орденом Святой Анны награждались не только военные, но и гражданские чиновники. Например, писатель и дипломат Грибоедов получил Анну 2-й степени за Туркманчайский мирный договор, а Карамзина наградили Анной 1-й степени за «Записку о древней и новой России». Через четыре года к Батюшкову «примкнет» Жуковский, тоже награжденный Анной (2-й степени) за военную доблесть в Бородинском сражении.

В Петербурге, куда Батюшков приезжает зимой 1808 года, он неожиданно заболевает — и проводит зиму в доме Олениных, заменившем Батюшкову и семью, и лазарет. Через полгода после Риги «колибри русского Парнаса» в чужом доме среди чужих людей — снова умирает. Вдвое его старший Алексей Оленин, замминистра Департамента уделов, ходит за ним как нянька. «...Мне помнить осталось, — напишет позже Батюшков, — что вы просиживали у меня умирающего целые вечера, искали случая предупредить мои желанья... и в то время, когда я был оставлен всеми, приняли *me peregrino errante* под свою защиту...»

«Оставлен всеми» означало не нужный ни в доме отца, ни в семьях старших сестер, которые давно жили своей жизнью, ни в Хантанове, которое только предстояло построить. Батюшков называет себя по-итальянски *me peregrino errante*, «блуждающий паломник». Это фраза из первой части «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо. С его судьбой поэт уже тогда проводит параллели. Письмо Оленину написано весной 1809 года, когда Батюшков вернулся из второго военного похода и делает первые пробы перевода поэмы. Но сейчас, зимой 1808 года, когда он выздоравливает в доме на Фонтанке, — он раздумывает совсем над другими материями. Новая «пьеса» Батюшкова выйдет в печати через год и будет называться «Воспоминание».

1807 год выпадет Батюшкову, действительно, калейдоскопическим. Девятнадцатилетний поэт успеет несколько месяцев провести в походе по немецким землям, чуть не погибнуть в сражении, быть раненым, выжить, выздоравливая, влюбиться в немку, бросить ее и вернуться домой с разбитым сердцем, обнаружить, что никакого дома нет, а есть сумасшедший отец, который на старости лет задумал снова жениться, разругаться с отцом и помириться с ним, стать кавалером ордена и медали, разделить имущество и снова подать прошение в армию. Немудрено было получить нервный срыв на такой почве. Болезнь погрузила его в состояние «промежуточности», и это было идеальное время для размышлений, что же произошло с человеком. Однако герой этого стихотворения и не битва, и не любовная история. Батюшков пишет стихи о химерах: воображения и памяти. Он делает свой выбор.

В этом стихотворении, как в музыкальной вещице, несколько встречных движений. «Каскады» этих движений чем-то напоминают устройство

парка в Хантанове. В первых строфах Батюшков вспоминает о мечтах. Это прошлое поэт сталкивает с будущим, поскольку мечта устремлена в будущее и это будущее Батюшкову известно: он из этого будущего пишет. А память о мечте летит, стало быть, обратно. Запутанная, «каскадная», но очень «батюшковская» драматургия. «Настоящих» в этом стихотворении несколько. Они чередуются как декорации, и это тоже станет приметой батюшковского стиля. Как и выражение его лица, смена планов и картин в его стихах происходит стремительно. Первое «настоящее прошедшее» — то, в котором поэт мечтает. Выписано оно по-батюшковски материально: выпукло и зримо (насколько для языка того времени возможно). Прошлое, воскрешенное памятью в мельчайших подробностях, переживается как настоящее. Мы на берегу Алле, перед генеральным сражением Батюшкову не спится. Свет луны пятнами пробивается сквозь ветки, река удваивает пейзаж, а фраза «едва дымился огонь в часы туманной ночи» заставляет не только увидеть картинку, но даже почувствовать запах дыма. Самый «осязаемый» образ рождается из совмещения противоположного («дымился огонь»), и Батюшков находит этот образ. Точно так же Пушкин, выросший на стихах Батюшкова, скажет в «Пиковой даме» про сальную свечку («темно горела»).

О чем мечтает Батюшков накануне сражения, которое приходится на канун его двадцатилетия? Мечтает ли он, подобно князю Болконскому, отдать все самое ценное за «минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей»? Отнюдь. Четвертый месяц в походе, он мечтает о родном доме, о возвращении то есть. Мечты о доме прерывает память, нетерпеливо рисуя второе «настоящее в прошлом». Это картина завтрашней битвы; то, что Батюшков, едучи на войну, не мог и вообразить себе. Война и вообще невообразима, это другая реальность, и она всякий раз рождается заново даже для опытного солдата. А тут поэт, мальчишка. Думал ли он, поспешая в поход на своем донкихотовском Рыжаке, что «трупы ратников устелют ваши нивы»? Война, повторимся, невообразима. Память о ней заблокирована. Она теперь «мрачно воспоминанье», то есть бесплодная тяжесть на сердце, лишённая смысла. Память о войне сохранила только страх. Но это не страх смерти, а страх забвения. Быть похороненным в чужой земле, лечь не подле праха предков, а в неизвестной могиле — ибо такова участь всех убитых на войне, — в могиле, над которой не прольют слезы друзья и близкие, — для человека рода, человека дворянской традиции страшнее смерти. И когда молитвы услышаны, когда чудом уцелевший Батюшков возвращается в еще одно, третье «настоящее прошлое», в котором он переправлен через Неман к своим — живой, хотя и раненый, — будущее снова, как декорация на театре, разворачивает перед ним парус. Поэт обретает «настоящее настоящее», ради которого поработала и мечта, и память. Оно в земном раю «хижины убогой» (или, как сказал поэт следующего века, «в провинции у моря»). Счастье — не мечтать и не вспоминать о мечтах, и тем более не жертвовать ради них «спокойствием и кровью». По-настоящему живет лишь тот, кто живет настоящим, в котором человек «могилу зрит свою и тихо смерти ждет». Эту строчку надо понимать, как и многое у Батюшкова, буквально. Так Батюшковы каждый день зрили погост при храме в Даниловском, где лежали их предки и где будут лежать они сами. Знание своей могилы, своих предков, языческое по сути, помогает преодолеть страх смерти. Это и есть жизнь, есть покой и счастье — когда нет страха. Чтобы понять ее ценность, нужно было быть мечтателем и побывать на краю гибели. Открытие для двадцатилетнего поэта выдающееся. «Кому неизвестны Воспоминания на 1807 год?» — скажет об этом стихотворении Пушкин.

ЧАСТЬ II

ИЗ ДНЕВНИКА ДОКТОРА АНТОНА ДИТРИХА, 1828 г.

17 июня, утром, едва мы отъехали от Теплица на расстояние часа, как больной принялся страшно метаться в карете; он стонал и вздыхал как бы от сильной боли, схватываясь по временам правой рукой за сердце, желая, казалось, сдержать его сильное биение. На мой вопрос, что с ним, он мне не дал никакого ответа. Потребовав, чтобы ему отворили дверцу кареты, он прошел несколько шагов и растянулся на траве. Дождь не переставал идти; чтобы предохранить его от простуды, я велел достать из экипажа шубу и простлать ее на земле. Больной, по-видимому, ужасно страдал; продолжая метаться, он постоянно схватывался за сердце. Сознание в нем почти исчезло; он говорил по-русски очень сбивчиво, временами плакал, рыдая; иногда же возвышал голос, сообщая ему то угрожающий характер, то таинственный шепот. Со слезами призывал сестру свою Варвару и мать; с полчаса говорил о заговоре против императора Павла. Руки его дрожали от сильного волнения в крови. Вид его был ужасен. Наконец он поднялся с земли и пошел дальше. Сестр в экипаж несмотря на наши приглашения он не согласился. Состояние его было таково, что могло легко окончиться вследствие все усиливавшегося возбуждения припадком настоящего бешенства. Он шел то тихо, иногда совсем приостанавливаясь, то бежал, как бы от нас спасаясь; постоянно обращаясь к встречающимся. Вначале он несколько раз ложился на землю, но я, подняв его при помощи провожатого, не позволял ему более ложиться несмотря на сопротивление его, когда притрагивались к нему. Я ясно видел, что не в состоянии буду обойтись без принудительных мер, прибегать к которым избегал, не желая еще более возбудить и без того раздраженного больного и надеясь без них влиять на него в будущем. Путешествие наше продвигалось медленно вперед, и я ничем не мог помочь делу. Больной громко кричал, выдавая себя то за святого, то за брата короля Франца, и возбуждая на дороге общее любопытство. Так как он не хотел садиться в экипаж, я решился употребить силу, сам присоединился к ним на помощь, будучи вполне убежден, что при настоящем его состоянии полной бессознательности все случившееся с ним бесследно исчезнет из его памяти. Он, вдруг вырвавшись из наших рук, обратился в бегство; я, как ближайший к нему, схватил его уже на расстоянии 60 шагов за правый рукав и крепко держал, пока Шмидт и Маевский не подошли ко мне на помощь. Я приказал принести сумасшедшую рубашку; решившись защищаться, он дрался, сыпля ударами и направо, и налево; у Маевского заболела грудь, а у меня и у Шмидта пошла из носу кровь, причем носы распухли. Почувствовав, что перевес силы на нашей стороне, он уже добровольно сдался и без сопротивления позволил надеть на себя рубашку, прося только не слишком крепко завязывать ее. Мы посадили его в экипаж и отправились дальше. Уперевшись ногами в кожаный фартук, он без перерыва говорил и кричал, называя себя связанным мучеником. «*Delier mes bras; mes souffrances sont terribles!*»² — кричал он между прочим. Призывая святых, он утверждал, что, несмотря на все их смирение, ни один из них не претерпевал таких страданий, как он. Сопровождаемые любопытной толпой, приехали мы в Билин; хотя до станции мы еще не добрались, я тем не менее решился остановиться здесь, чтобы больной несколько успокоился. Мы провели его в гостиницу, и я велел

² Освободите мне руки, мои страдания ужасны! (фр.)

вынуть из экипажа подушки и положить их на софу, чтобы больной, вытянувшись, мог удобнее отдохнуть; но он и здесь продолжал некоторое время шуметь; топал ногами, выкрикивал отдельные слова, постоянно повторяя их, или беззвучно ворочал во рту языком. Чтобы было в комнате темнее, я приказал спустить жалюзи и приготовить ему из Билинской горькой воды лимонад, от которого он, впрочем, отказался, когда я предложил ему его. Он уселся наконец на диван и задремал; просыпаясь временами, он со стонами и вздохами жаловался на боль во всех членах. Не желая беспокоить его, я вышел из комнаты; по моем возвращении мне сообщили, что он несколько раз вскакивал с дивана, бросался на колени и, кладя земные поклоны, старался прикоснуться лбом к полу, что в обычаях русской церкви. Но вообще был значительно покойнее; я застал его дремлющим. Рассчитывая, что припадок бешенства уже миновал, я велел послать за вольнонаемными лошадьми, которые должны были довести нас до следующей станции.

«ВНУТРЕННИЙ ЧЕЛОВЕК»

В 1833 году министр народного просвещения граф Уваров заключил «начала, без коих Россия не может благоденствовать» в триаду «православие, самодержавие и народность». Он был не так уж неправ: во времена его детства российская государственность опиралась на то же самое. Можно сказать, формула Сергея Семеновича была его ностальгическим воспоминанием о временах Екатерины, когда государство, культура и церковь были *действительно* одним целым.

«Симфонию» этого единства (Никита Панин сказал бы: «аккорд») — прекрасно отобразил язык того времени. В сочинениях Тредиаковского и Ломоносова, на которых вырос Батюшков, церковнославянские фразы соседствовали с приказными/канцелярскими штампами, кальками с немецкого и грубым просторечьем, которого не чуждалась эпоха «русского Просвещения».

В литературном языке того времени и литературы-то никакой еще не было. Говорили: «письмена». Говорили: «стезя», а не «след» и тут же могли ввернуть «вчера», «малость», «шельма», «покалякать». Герой садился непременно «наsupротив», а не «напротив», «дабы приять», а не «принять», и «толикую», а не «такую». «Человек» и «разум» употребляли во множественном числе («человеки», «разумы»), то же касалось и оружия (они: «оружия»). Речь пестрела немецкими *гаунтвахта*, *слесарь*, *камергер*, *лейб-медик*, *градус* и пр.

Для современного человека подобная мешанина звучала бы дико. Но абсолютная власть Екатерины и не предполагала никакого «разъятия». Литература, церковь и государство объединились в языке только потому, что были едины в представлении Ее Величества. Екатерина видела себя просвещенной императрицей и беседовала на равных с выдающимися умами Европы. Ее одержимость французскими идеями видна уже по тому, каких наставников она выбрала для своего внука Александра. Парадокс заключался в том, что в мире разума самой Екатерине как бы не оставалось места. Разум предписывал абсолютную власть ограничивать, однако другой власти в России нет и не было, и здесь просветительство Екатерины заканчивалось. Это противоречие, которое хоть и мирно вписывалось в характер императрицы, было разрушительно для страны, и не только екатерининского времени. Невозможность разрешить его проходит через всю историю послепетровской России. Ее политэкономическая архаика всякий раз оказывается несовместимой с запросом на интеллектуальное обновление. Власть не в состоянии ограничить себя сама. Это снова Уроборос, который кусает себя за хвост.

Что оставалось поэтам? Не так уж мало: именины-венчания-похороны-коронации; балы и фейерверки; неверные мужья и ветреные жены, комические с ними сцены; славные победы русского оружия; завоевания географические и научные; полет вельможной мысли; борение героя со смертью, а долга с чувством; чудесное разнообразие Природы; мудрое величие царя; Бог, наконец.

Сегодня мы назвали бы такую литературу «официальной». Но классицизм другим себя и не мыслит, он всегда официален, «общественен». Всегда при власти. Однако стоит официальному проникнуть в жизнь человека чуть глубже — как наступает отторжение. Человек строит, чтобы оградить себя, стену; уходит во внутреннюю эмиграцию.

Русское франкмасонство и стало такой формой внутренней эмиграции для интеллектуалов своего времени, причем совершенно разных характеров и взглядов — как, например, Карамзин и Шишков. Всех этих людей объединяло то, что ни казенная религия, ни казенная власть, ни язык, на котором они разговаривали друг с другом, — их больше не устраивали. Для общения с собой и Богом требовалось новое слово. Масоны искали, как этим словом выразить то, что чувствовали. Удивительно, но язык, на котором так блестяще писал Батюшков, зарождался в мистицизме вольных каменщиков. Карамзин просто «перевел», пересадил его на литературную почву.

История масонства в России изучена не самым обстоятельным образом, и не потому, что ею никто не интересовался. Иерархия вольных каменщиков была слишком запутана, а философия темна и невнятна, чтобы можно было толком их систематизировать. Изучать же мистические практики или «внутреннего человека» и вообще не представлялось возможным. Да и как, если система сама не понимает, что ищет? В общих чертах скажем, что масоны старшего поколения (70-х — 80-х годов) были рационалистами и утверждали разумную мораль в русле идей Просвещения. Однако уже младшие называли разум «слепотствующим». Они считали его не способным сделать выбор между добром и злом. «Разумная» Французская революция, превратившая страну в хаос, как и турбулентные годы правления Павла, разрушившие привычный порядок вещей в империи, — только подтверждали это бессилие. Разум, которым восхищалась Екатерина, не стал проводником истины для души и сердца. Философскому скептицизму Вольтера новые масоны предпочли естественного человека Руссо и мистика розенкрейцеров. Философия без откровения, полагали они, утверждает лишь относительность всего на свете и не приближает человека ни к морали, ни к Богу. Но в чем тогда искать точку опоры? Очевидно, в том, что для разума непостижимо; что не поддается соблазну греха и «огосударствления»; в себе самом, во «внутреннем человеке». «О возлюбленный наш Иисус! — говорится в масонской молитве. — Победи в нас жестоких сих врагов, наипаче сокруши гордую выю воле и разуму нашему, сотри их до основания и даруй нам сердце новое, чистое, волю кроткую и Тебе Единому послушную».

Эта внутренняя дисциплина (или «тесание дикого камня сердца человеческого») стали формой аскезы или «собираения души» — для людей времени, когда сам по себе человек в обществе ничего не значил. Государство, монарх и церковь превращались для такого собирателя в пустые оболочки. Иисус ищет лишь чистое сердце, считали масоны, и наполняет лишь кроткую душу. Но какими словами выразить эту «кроткую»?

Карамзин увлекся масонством в родном Симбирске и тогда же вступил в ложу «Золотого венца». В Москве, куда он перебрался, он примкнул к новиковскому Дружескому ученому обществу. В то время Новиков занимался устройством системы народного образования, которая существовала бы параллельно государственной. Он небезуспешно действовал на этом поприще. На поступавшие от масонов деньги в арендованных типографиях печатались просветительские книги, и Новиков нуждался в литературно одаренных единомышленниках, которые эти книги писали бы и переводили. Но

Карамзин был поэтом, а не мистиком и быстро разочаровался в масонстве. Из ордена, однако, он вышел не с пустыми руками. Это была идея «внутреннего человека». К масонам она попала от французских просветителей, настаивавших на абсолютной ценности индивидуального разума, а почти все масоны, особенно первого Елагина союза 70-х годов, считали себя вольтерьянцами. Действительно, если взглянуть на имена переводчиков Вольтера того времени, мы увидим почти что исключительно имена масонов: Сумароков (переводчик «Микромегаса»), Голенищев-Кутузов («Задиг»), Херасков («Мысли, почерпнутые из Екклезиаста»), Спиридов («Скармантадовы путешествия») и многие другие. «Фармазон» и «вольтерьянец» были в те времена словами-синонимами.

Этого-то французского «внутреннего человека» Карамзин и решил сделать объектом и субъектом новой русской литературы. И тогда (и всегда) европейские идеи пересаживались на русскую почву через «что-то», и этим «что-то» стало для Карамзина русское масонство. Даже сама фраза («движение сердца» — «*mouvement du coeur*») была заимствована нашими каменщиками из французского литературного. Оставалось создать язык, на котором эти «движения» можно было бы наиболее полно и точно выразить и передать читателю. Карамзин займется его сотворением. Он станет первым апостолом и проводником нового языка, и в поэзии Батюшкова «внутренний человек» заговорит в полный голос. Следуя этому голосу, Батюшков обретет поэтическую судьбу, но в человеческом плане сделается изгоем, «лишним человеком». Онегин, всего несколькими годами моложе Константина Николаевича, повторит многие черты его характера. Онегин — это Батюшков, который не болен.

В то время Карамзин был космополит по духу и европеец по принадлежности к культуре. Он стал таким после знаменательного путешествия по Европе (1789 — 1790). Эйфория революционного Парижа произвела на молодого человека решающее впечатление. Беллетризованные обстоятельства этого впечатления нам известны по книге «Письма русского путешественника», продолжавшей европейскую традицию интеллектуальных путешествий в духе Лоренса Стерна — но на русской почве пока что не знавшей предшественников. В «Письмах» автор лишь отчасти совпадал с лирическим героем, а иногда не совпадал вовсе. Литературный герой Карамзина предпочитал оставаться ироничным, одинаково ко всему — «высокому» и «низкому» — любопытным, наблюдателем. Дистанция и всеядность позволяла говорить о новых идеях и впечатлениях, не соотнося себя с ними полностью. Тем самым Карамзин словно объективировал то, что видел; придавал реальности форму очевидного. Но сам Николай Михайлович вернулся из путешествия все-таки другим человеком, и подхватил он не только «вирус» свободы. Во Франции молодого человека коснулась История. В те месяцы она «делалась» прямо на улицах Парижа, и Карамзин стал ее жадным свидетелем. Какие последствия имело «прикосновение Клио» для русской историографии — мы прекрасно знаем по «Истории государства Российского». А пока в Лондоне у русского консула, куда Карамзин прибывает из Парижа, он поднимает тост за «Вечный мир и цветущую торговлю». Он считает, и не так уж несправедливо, что равенство людей и сословий обеспечит народам мир, а остальное доделает свободный рынок. С этими убеждениями он отплывает в Петербург. Двадцать три года спустя тот же путь (из России в Париж и Лондон) проделает Константин Батюшков, но какими разными будут обстоятельства этих путешествий...

Карамзин вернулся из Франции другим человеком, он больше не хотел быть масоном и «тесать камень сердца». Отныне его бог — новая литература, и во Франции он понимает, на каком языке она будет говорить с читателем. Карамзин хочет переориентировать литературный русский на язык повседневной речи, поскольку та, логично считает он, точнее и глубже

выражает «внутреннего человека». «Французский язык — пишет он в заметке «Отчего в России мало авторских талантов?» — весь в книгах (со всеми красками и тенями, как в живописных картинах), а русский только отчасти; французы пишут как говорят, а русские обо многих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с талантом». Иными словами, разговорная, обыденная речь образованного сословия Франции давно преобразила литературный язык и закрепилась в книгах — а для русских образцом повседневной речи до сих пор являлся язык книжный, искусственный и «официальный».

Карамзин-европеец считал просветительство лучшим средством привести народы к благоденствию. Поскольку разные народы в силу исторических обстоятельств двигались к цивилизации разными темпами, было бы разумным для тех, кто отстал, перенимать опыт тех, кто прошел первым. Если новые ощущения и смыслы отпечатываются в языке, то зачем изобретать велосипед? Не лучше ли перенести в родной язык то, что уже открыто? Тем более что русский язык и сам состоит из заимствований? Перенести с помощью прямого калькирования, например, — и не только отдельных слов (*влюбленность, промышленность, достопримечательность*), но языковых оборотов: *буря страсти или цвет молодости, бросить тень на что-либо* или *бумага все стерпит, быть не в своей тарелке*.

Следовало, во-вторых, избавиться и от церковно-славянских конструкций. Казалось бы, что может быть органичнее языку нации, чем язык Библии и богослужения? Оказывается, и не ближе, и не глубже. Духовные книги переводились с греческого, и многие слова и даже фразы, не говоря о форме подчинения слов, — были точно такими же кальками с греческого, как и новообразования Карамзина с французского. Живой смысл этих слов (*литургия* — общее дело) ничего, кроме звука, не сообщал уху. «Нестор знал уже, к несчастью, по-гречески, — досадует Карамзин, — к тому же переписчики позволяли себе поправлять слог его».

Старую литературу Карамзин отвергал со всей страстью молодого новатора. Все, что было написано до него, он характеризовал «мглою ноши». Подобно французам, Карамзин хотел утвердить литературный язык на повседневной речи. Но каким был разговорный язык того времени? Как общались в быту люди образованного сословия в России? С детства воспитанные на французской или, как Батюшков, итальянской речи? Или, как Шишков, на Псалтири?

Карамзин не мог не понимать, что лукавит; что салонная речь представляет собой еще большую мешанину, чем книжная, и не может служить разумной основой для нового языка. И он снова вспоминает масонов. Интуиция, которую вслед за просветителями проповедовали вольные каменщики, или чувствование себя и Бога душой и сердцем — подсказывают Карамзину выход. Он ищет аналог «интуиции» и находит его у Руссо. С помощью Руссо он вводит в литературу критерий *вкуса*. В речи на торжественном собрании Российской академии Карамзин говорит: «Судя о произведениях чувства и воображения, не забудем, что приговоры наши основываются единственно на вкусе, неизъяснимом для ума» — и это почти прямое заимствование у Руссо из «Писем к Юлии» («Вкус — это своего рода микроскоп для суждения; благодаря ему становится возможно распознать малое, и его действие начинается там, где прекращается действие суждения»).

Отказывая разуму в истинном понимании литературы (которая, по Карамзину, постижима лишь воображением и чувством) — Карамзин делает литературный язык открытым для авторского произвола. Он призывает к языкотворчеству и первым входит в роль Франкенштейна. Нет никакой обыденной речи, как бы говорит Карамзин, — есть речь идеальная, та, какой мы представляем себе ее, какой сами создаем. И критерий такой речи тоже один — вкус, или «внутренний человек» автора, и оправдание тоже одно, «внутренний человек» читателя. Подобная цепочка превращений напоминает «химические операции» масонов в алхимии, но только Карамзин

придумал применить ее к языку и (что поразительно!) получить философский камень для нового языка. Некоторые из масонов так и не смогли простить своему бывшему соратнику подобного «заимствования».

Летом 1809 года Константин Батюшков вернулся из Финляндского похода в Хантаново. Дом, хоть и недостроенный, уже позволял разместиться и ему, и незамужним сестрам. Они могли жить обычной жизнью мелкопоместных дворян Пошехонья. После финской зимы Батюшков стал внутренне готов к такой жизни. Еще в Финляндии он принял решение обосноваться в провинции — по крайней мере на ближайшее время.

Другой «базы» у него попросту не было.

Шведская кампания не принесла Батюшкову прямых выгод, если не считать осознания, что для военной службы он не создан. Определяясь в полк годом раньше, он мечтал жить в Петербурге. Однако судьба — индейка, и уже осенью 1808 года Константин Батюшков отправлен вместе с лейб-гвардии Егерским полком на войну в Финляндию. Несколько зимних месяцев он проведет не в столичной суеде балов и литературных собраний — как мечтал, — а на берегу занесенного снегом Ботнического залива, вдоль которого вместе с армией будет продвигаться к Швеции. В письме Оленину из Надендала он напишет: «Скука стелется по снегам, а без затей сказать, так грустно в сей дикой, бесплодной пустыне без книг, без общества и часто без вина, что мы середи с воскресеньем различить не умеем».

С точки зрения «наполеоники» война в Финляндии была и не войной вовсе, а чередой мелких сражений между частями армий — и бесконечными стычками с финским крестьянством. Никаким историческим размахом, никакой живописностью стройных рядов и пушечных залпов, знамен и кавалерии — всем тем, что создавало военную романтику и когда-то пленило Батюшкова, — эта война не обладала. Она не была даже формально объявлена. После тильзитских соглашений с Наполеоном Александр просто вторгся в Финляндию, подчиненную шведской короне, и стал шаг за шагом захватывать ее территорию. Король Швеции Густав IV, считавший Александра образцовым самодержцем и полагавшийся на союз с Россией, — должен был после Тильзита расстаться с иллюзиями. Теперь, когда Пруссия была повержена, а Александр союзничал с «корсиканцем», — Густав остался в одиночестве. Кавалер русского ордена Андрея Первозванного, он с негодованием вернул награду, когда узнал, что этим орденом Александр наградил Наполеона. У Густава и вообще были давние счеты с этой страной и этим семейством. Ровесник Александра, он познакомился с ним еще в царствование Екатерины. Густав оказался в Петербурге в последние месяцы жизни императрицы — по ее настойчивому приглашению. В России его ждала невеста, сестра Александра (Александра Павловна). Но свадьба, которая могла бы укрепить династические связи Романовых в Скандинавии, в самый последний момент расстроилась. До сих пор неизвестно, по глупости или недосмотру Платона Зубова, или его же по злему умыслу, однако из брачного договора исчез пункт о перемене вероисповедания Александры Павловны. Для будущей королевы Швеции было невозможным оставаться в православии, и все это знали — точно так и Екатерина перешла когда-то в чужую веру. Однако пункт все-таки «выпал». Обнаружив пропажу, оскорбленный Густав не вышел на церемонию и вскоре покинул Петербург. Это был предерзостный поступок; ждали, что реакция Екатерины будет ужасной. В каком-то смысле так и вышло. В тот день — когда Екатерина с вельможами напрасно прождала помолвленных перед накрытыми столами — с ней случился первый из череды ударов, сведших императрицу в могилу. И вот теперь ее внук — тот самый Александр, несостоявшийся шурин — устроил «рейдерский захват» финских провинций Густава.

В Финляндии Батюшков не рвется в бой и не мнит себя спасителем Отечества. Во время заварушки при Иденсальми он в резерве и, по собственному признанию, «геройскими руками / фляжку с водкой осаждал». Батюшков готов восхищаться героизмом Ивана Петина, с которым судьба снова свела его, — но сам, надо полагать, рад побыть в стороне. Качества, необходимые боевому офицеру, — здоровье и сила духа — у него отсутствуют. В Финляндии он это понимает, и когда кампания затягивается, подаст Багратиону просьбу об отставке. Официальная причина: здоровье («Так нездоров, — пишет он Гнедичу, — что к службе вовсе не гожусь, хотя и желал бы продолжать»). Но были, наверное, и причины другого характера. Батюшков видит то, что видит: что война — это не только карьера и слава героям, но «уединенные кресты». Да, победа, как бы говорит он. Мы торжествуем. Но как совместить торжество с безымянными могилами? Где свой конец нашли тысячи солдат и офицеров, над прахом которых никто не прольет слез и не прочтет молитвы? Тем более что под любым из этих крестов мог быть он, поэт Батюшков? «Я желал бы уничтожиться, уменьшиться, сделаться атомом», — признается он Гнедичу с каким-то уже гамлетовским отчаянием.

«О боже, я бы мог замкнуться в ореховой скорлупе и считать себя царем бесконечного пространства, если бы мне не снились дурные сны»... Но Батюшков не Гамлет, он поэт, а значит пищу для ума/воображения он отыщет и в пустоте, и в скорлупе, и в безнадежности. Свои соображения о крайних широтах Батюшков неожиданно развернет в коротеньком, но ярком «Отрывке из писем русского офицера о Финляндии» (1809). Это, кстати сказать, будет его первый опыт в прозе. «Северные народы, — напишет Батюшков, — с избытком одарены воображением: сама природа, дикая и бесплодная, непостоянство стихий и образ жизни, деятельной и уединенной, дают ему пищу». Отметим это непостоянство: быстрая смена картин северной природы (как и смена батальных сцен) сродни чрезвычайной подвижности батюшковского воображения. «Древние скандинавы, — подмечает поэт, — полагали, что Оден... чутким ухом своим слышит, как весною прозябают травы. Конечно, быстрое, почти невероятное их возрастание подало повод к сему вымыслу».

После Финляндии Батюшков по-новому видит то, что его окружает. В занесенной снегом Шексне он прозревает другую картину: «Но солнце, кажется, с ужасом взирает на опустошения зимы, — пишет он, — едва явится и уже погружено в багровый туман, предвестник сильной стужи. Месяц в течение всей ночи изливает серебряные лучи свои и образует круги на чистой лазури небесной, по которой изредка пролетают блестящие метеоры».

Картина финской зимы по-батюшковски выпукла и зрима, холод буквально пронизывает ее. После такой зимы умеренный север Хантаново уж наверное покажется пригодным для жизни. Батюшков снова полюбит места, где жили его предки, тем более что в Петербурге, через который он едет на родину, его почти никто не встречает. «Итак, ожидайте меня к воскресенью, — пишет он сестрам из столицы. — Целую вас, друзья мои, приготовьте комнату, а я накупил книг».

Петербург в то лето, действительно, покажется Константину Николаевичу пустыней. Даже проездом он заметит, насколько все переменялось, все стало не тем, чем было. Север опустошил не только сердце самого Батюшкова, но, казалось бы, и все, что было ему дорого в прошлой жизни. Не осталось в Петербурге родных Муравьевых, не было и Олениных, съехавших на лето в Приютино, — а на семейство Гревенсов обрушилось горе: пока поэт воевал, умерла его старшая сестра Анна — та самая, что прислала ему в пансион картину «Диана и Эндемион».

Изображений сестры Батюшкова не сохранилось; нам не известно и то, от чего умерла «Диана» Анна Николаевна; известно лишь, что ее «Эндемион» и странствователь Батюшков не успеет на похороны — как спустя несколько лет не успеет проводить в последний путь отца.

Для родных и близких смерть двадцативосьмилетней женщины станет тяжелым испытанием, и в особенности — для ее мужа. Вдвое старший, Абрам Ильич Гревенс останется с маленькими детьми на руках, и Батюшковы, прекрасно знавшие, что такое детство без матери, сделают все, чтобы судьба племянников сложилась счастливо. По душевным затратам будет и воздаяние: сын Анны, маленький Гриша, первый и самый любимый племянник Батюшкова, через двадцать лет возьмет опеку над поэтом. Когда разум Батюшкова окончательно померкнет, Григорий Абрамович сделает все, чтобы обеспечить достойную жизнь своему дяде.

В Хантаново, куда Батюшков прибудет из опустевшего Петербурга в июле 1809 года, он проживет почти полгода. За это время впечатления его обретут ту или иную литературную форму, однако то, что он напишет, будет формой его душевного состояния, и именно *эта* форма потребует и Державина, и поэтов греческой антологии, и римлян, и французов — то есть всю цепочку влияний, которая слышна в его строфах того времени. Стихи — точка преломления этих влияний. В Хантаново он напишет две больших «Тибулловых элегии» (вольный перевод любовных элегий древнеримского поэта) — и несколько любовных переложений из француза Эвариста Парни, тоже, впрочем, «восходившего» со своими стихами к античности. Тибулл воспевал частную жизнь с любимой вдали от города и славы. Возможно, Батюшкова заденет за живое и антимилитаристский пафос римского лирика. Так или иначе, он решает, что довольно побыл «игрушкой случая» и пора — как поэты-предшественники — вернуться в деревню к «деревянным богам»; примерить роль не воина, но любовника и мудреца-домоседа, который «от лар своих за златом не бежит» и «в хижине своей с фортунной обитает». Роль, само собой, вынужденная, ведь не о том в юности мечтал Батюшков (а с ним и Державин, и Тибулл, и Анакреонт). Однако для того и разум, чтобы понять и принять смысл того, что уготовано. Философия и мораль и вообще начинаются тогда, когда человек перестает чувствовать себя хозяином жизни, тогда-то жизнь и приоткрывает свой замысел. Журналист Николай Полевой в очерке о Державине прямо скажет про Батюшкова: в его сочинениях есть «желание забыть на время в наслаждения поэзии неисполненные мечты жизни». Но такова природа жизни — можно было бы ответить Полевому. Представление о ней человека сталкивается с реальностью и приносит разочарование. Боль этого разочарования есть первый шаг навстречу к себе, к «внутреннему человеку». В свои двадцать два года Батюшков узнал об этом.

«Хантановской осенью» 1809 года он напишет еще одну вещицу, и эта вещица неожиданно составит ему скандальную литературную славу. Это будет сатира на карамзинистов и шишковцев — «Видение на берегах Леты». Батюшков напишет «Видение» спустя семь лет после выхода в свет шишковского «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка» и тем самым вступит в полемику, которая тянулась не первый год. Ее история начинается с момента публикации трактата Александра Семеновича, трижды потом, кстати, переизданного; она положит начало спору «архаистов» и «новаторов», «шишковцев» и «карамзинистов», «славянофилов» и «европейцев» — который (спор) в свою очередь наследует литературным спорам XVIII века — и в который Батюшков ринется не так уж безрассудно, как может показаться. Между «карамзинистами» с «шишковцами» у него есть своя позиция и расчет.

Чтобы понять природу конфликта «шишковцев» и «карамзинистов» — который интереснее и глубже, чем тот черно-белый образ, который сложился в истории литературы, — присмотримся к фигуре самого Александра Семеновича повнимательнее. Нет ничего проще, чем объявить человека ретроградом и высмеять его адептов (как это сделал Батюшков). Но батюшковская сатира и не предполагала другого отношения, на то и жанр. Однако

полемика Шишкова с Карамзиным была далека от журнальной сиюминутности. В сущности, перед нами вечный спор о том, язык — это ЧТО или КАК? Форма/содержание? Ни Карамзин, ни Шишков нигде напрямую не дают ответа. Однако, по сути, мы имеем дело именно с конфликтом такого рода. По Карамзину, язык есть сосуд для содержания и помещает его туда — Автор. Ему нужен послушный, доступный, легкий и податливый инструмент. Таким инструментом Карамзин считал язык повседневной речи культурного сословия. Тот разговорный язык, задача которого была как можно точнее и изящнее передать чувства автора. Литературный язык Карамзина прежде всего язык авторский. С помощью калек с французского он европеизирован, то есть освобожден от многовековой смысловой тяжести. А Шишков, наоборот, считал, что заимствованные слова обедняют речь, поскольку лишены «умствования»; что они суть пустые оболочки для разума и слуха; что семантическая глубина старославянского слова, его «тяжесть» и есть главное богатство, сохраненное в языке и переданное современному человеку.

Конфликт, по сути, мировоззренческий: между индивидуальным творчеством и коллективной памятью, свободной личностью и государевым подданным, — конфликт бессмысленный, ибо язык способен вместить и то, и другое, и мы — с высоты своего времени — прекрасно об этом знаем. Даже семьдесят лет советской власти с ее чудовишным новоязом не смогли «исказить» русскую речь, чего уж говорить о спорах Карамзина с Шишковым. Да и какой это был спор: писателя с лингвистом? Карамзин открывал в новом языке свободу для творчества, и не его была беда, что графоманы-последователи, которых высмеял Батюшков, не имели вкуса, чтобы реализовать эту свободу. Шишковские эпигоны выглядели еще комичнее. Между тем именно Шишков первым в отечественной лингвистике заговорил о «разум слова» и его «умствованиях». Лингвисты последующих эпох назовут этот «разум» «внутренней формой языка» (Потебня) или «ноэмой» (Лосев). Чтобы представить себе «разум слова», приведем пример из самого Александра Семеновича. «Многие слова в языке нашем, — пишет он, — суть не просто звуки, условно означающие вещь, но заключающие сами в себе знаменование оной, то есть описующие образ ее, или действие, или качество, и, следовательно, заступающие место целых речений. Например, в названии *вельможа* представляются мне многие понятия совокупно: слово *вель* (от велий) напоминает мне о изяществе, величии; слово *можа* (от мощь или могущество) изображает власть, силу. Француз назовет сие *grand Seigneur*, немец *grosser Herr*, и оба своими двумя словами не выразят мысли, заключающейся в одном нашем слове; ибо слова их, не первое *grand*, *grosser* (велик), ни вторые *Seigneur*, *Herr* (господин), не дают мне точного понятия ни о слове *велий*, ни о слове *могущество*; они говорят только *великий господин*, а не *вельможа*».

В защиту других языков скажем только, что каждый из них сохраняет «разум слова» по-своему; безрассудно сравнивать их напрямую. Возможно, за эту военную прямоту о потешались над Шишковым «карамзинисты» — не заметив его чувствования глубины слова, обратной перспективы слова. Именно здесь они с Карамзиным, как ни парадоксально, сходились. Масонская школа снова напоминала о себе. То, что первый искал внутри человека, — точку опоры — второй находил внутри слова. В конфликте Карамзина с Шишковым внутренний человек спорил с внутренним словом. Однако природа этого конфликта, как мы уже сказали, носила мировоззренческий характер. Александр Семенович видел (и справедливо) в карамзинском новоязе прямое следствие французской революции, которую ненавидел всем сердцем военного монархиста и государственника. А Карамзин рассматривал теорию Шишкова как попытку огосударствления личности. На пути прогресса, считал он, это шаг в обратную сторону.

Александр Семенович Шишков вырос под Кашиным в патриархальной небогатой дворянской семье, где из книг большинство было церковно-

славянских, и с годами только упрямее держался за то, что составило его первые впечатления. Он был на десять с лишним лет старше Карамзина, а Батюшкову годился в отцы. Большая часть его долгой жизни прошла на государственной службе. Он дослужился до адмирала. Участник множества морских походов и даже сражений, он никогда не расставался с лингвистикой, а между службами, в опалах и отставках, занимался ею с академическим размахом. Его первым трудом в области языкознания стал морской словарь специальной терминологии (на трех языках). Наиболее удачные аргументы против карамзинского новояза он отыскивал именно в военно-морской области — там, где от смысловой точности перевода зависело многое, если не все. Он видел язык огромным кораблем, где у каждой снасти/слова есть свое практическое значение/форма, обеспечивающие судну заданный курс.

Как человека военно-морского, в карамзинском новоязе Александра Семеновича особенно задело калькированное с французского выражение «быть не в своей тарелке», и вот почему: «Хотя тарелку и называют они assiette, — пишет Шишков, — однакож assiette есть также у них и морское название, которое значит разность углубления между носом и кормою корабля. На нашем морском языке разность сию называют дифферентом. Примечается, что каждый корабль при разных дифферентах, какие оному дать можно, имеет один такой, при котором он лучше и скорее ходит. Отсюда по подобию с кораблем говорится и о человеке: il n'est pas dans son assiette, он не в своем дифференте... Итак, в словах: он не своем углублении или дифференте есть мысль и подобие; но в словах: он не в своей тарелке нет никакого подобия, ни мысли. Для чего привел я пример сей? Для того, чтобы показать, что мы часто не зная ни французского, ни своего языка силы, переводим слова и речи и, составляя таким образом новые, никому непонятные выражения, думаем, что мы обогощаем ими словесность нашу».

Ни к чему, кроме агрессивного консерватизма, стезя военной службы и не могла привести этого человека. Получивший от государства все, он возвращал долги как мог, особенно под конец жизни — «чугунным» цензурным Уставом 1826 года, например, или запретом книг французских просветителей. В 1807 году, когда Батюшков отправится в первый военный поход, Шишков — ветеран множества кампаний — призовет старших консерваторов Хвостова и Державина устраивать частные собрания, куда можно приглашать молодых литераторов для наставления на путь истинный. У Батюшкова, принадлежавшего к кружку Оленина, эти собрания, надо полагать, вызывали усмешку. Недаром другой «оленинец», Гнедич, так откровенно писал Батюшкову в письмах о том, что видел («...у Шишк<ова> я одному из членов славенофилизма приказывал подать мне стакан воды, почитая его лакеем; в доме Держ<авина> у одного из его юных поклонников спросил: куда у них на двор ходят? почитая его тоже лакеем. Из таких фигур, из таких тварей я вижу общества, советы и суды о произведениях ума и вкуса»).

Батюшков напишет сатиру за месяц и тем самым поставит себя в ряды «новаторов» — при том что в самой сатире высмеет не только архаистов «шишковцев», но и эпигонов карамзинского сентиментализма; впрочем, на провокационное предложение Гнедича вывести в сатире самого Карамзина (раз уж выведены его эпигоны), ответит недвусмысленно: «Карамзина топить не смею, ибо его почитаю». «Видение» вообще написано с третьей позиции: и не «за» Карамзина, и не «против» Шишкова. На суд покойных русских классиков (Ломоносова, Княжнина, Баркова, Богдановича) — Батюшков приводит эпигонов и того, и другого. Он с одинаковым восторгом топит в летейских водах и «архаистов», и последователей «чувствительности», то есть выступает против *тенденциозности* в современной литературе. В сущности, он следует за Карамзиным, который еще в 90-х годах назвал

«два главных порока наших юных муз: излишнюю высокопарность, гром слов не у места и часто притворную слезливость» (в предисловии ко второй книжке «Аонид»). Конечно, в этой пестрой компании большинство мест досталось петербургским «архаистам», но канули в Лету и московский профессор «Верзляков» Мерзляков, и «безъерный» Языков, и «карамзинист» Шаликов, и русский патриот Глинка, и «русские Сафы» — Титова и «две другие дамы, / На дам живые эпиграммы» (Бунина, Извекова) — а не один Бобров с его «*роща ржуща ружий ржот*». Только двум литераторам было суждено спастись от забвения, и это сам Шишков, которого доставляют в повозке эпигоны, — и поэт Иван Крылов.

Судя по ранним спискам «Видения», Батюшков «обессмертил» Шишкова лишь иронически — в том смысле, что Шишков, если и заслуживал бессмертия, то как трудолюбивая бездарность. Но ссориться с Шишковым в открытую молодой поэт не посчитал нужным, тем более что «бессмертием» Крылова Шишков и «архаисты» и так умалялись сверх меры.

«Видение» было сатирой на «архаистов» и «сентименталистов», но, «спасая» от утопления Крылова, Батюшков как бы указывает на третий путь, который и сам ищет для себя в то время. Отчасти эти поиски были связаны с кружком Оленина, к которому принадлежал и сам Батюшков, и Крылов, и Гнедич. Круг идей и образов, которым жили «оленинцы», исследователи определяют как «русский ампир». Это течение предшествовало романтизму любовью к античной лирике (Тибулл, Проперций, Катулл) — и страстью к русским древностям («Слово о полку Игореве» как форма русской античности). Однако сам Оленин никакой литературной или искусствоведческой программы не выдвигал и не требовал этого у тех, кто составлял его круг. В доме на Фонтанке свободно собирались представители разных течений, объединенные талантами и искренней любовью к искусствам и древней истории. Если кто-то и мог бы выразить оленинский «ампир» наиболее полно — это был Крылов. Он не только переводил басни с французского (переведенные с латыни), он перевел их с элементами народного «просторечья», то есть славянской «древности», и это было бы уже «оленинское», а не «карамзинское» сотворение языка.

В начале 1809 года, когда Крылов выпускает книгу басен, становится ясно, что в русской литературе появился серьезный автор. Крылова немедленно выдвигают в члены Российской академии, однако в марте 1809 года он с треском проваливается на выборах. Осенью того же года появляется статья Жуковского, помещенная в «Вестнике Европы» («Басни Ивана Крылова»). В ней Жуковский воздает должное таланту Крылова-переводчика, однако симпатизирует, и из текста это видно, старшему мастеру басенного жанра Ивану Дмитриеву. При том что статья Жуковского — одна из лучших, хотя он и не первый критик жанра русской басни, — она наносит Крылову обиду тем, что не признает в нем такого же, как у Дмитриева, поэтического таланта. И донкихот Батюшков решает «поддержать» старшего товарища, тем более что искренне его любит («Крылов родился чудачком. Но этот человек загадка, и великая!»). Провал Крылова на выборах в Академию символизирует для Батюшкова победу «архаистов», мстивших Крылову за его независимую литературную позицию. Этого было достаточно, чтобы встать на защиту, ведь и сам Батюшков в то время пытается найти в литературе свой, независимый от «тенденций» путь. Фиаско Крылова с Академией давало возможность привлечь талантливого автора к таким же, как Батюшков, — отказавшимся примыкать к какому-либо «лагерю». Рупором «несогласных» стал журнал «Цветник», издаваемый Измайловым. Сюда-то и привлекают для сотрудничества обиженного «архаистами» Крылова. Хвалебная рецензия на книгу Крылова, помещенная в том же «Цветнике», и образ Крылова в «Видении» Батюшкова — были частями одной кампании. Тем самым Батюшков словно закреплял за Крыловым статус независимого от «архаистов» и «сентименталистов» классика.

Конечно, «возвышение» Крылова косвенно умаляло Ивана Дмитриева, который о ту пору царствовал на басенном Олимпе, — а значит и его друга Карамзина. Но вряд ли Карамзин, удалившийся от литературного света ради «Истории», мог всерьез принимать подобные интриги. Батюшков и вообще утверждал, что в его сочинении больше юмора, чем сатиры. «Я мог бы написать все гораздо *злее*, в роде Шаховского, — пишет он Гнедичу. — Но убоюсь, ибо тогда не было бы смешно». Спустя восемь лет, когда Батюшков составлял свою первую книгу «Опыты в стихах и прозе» (1817), ее издатель Гнедич настаивал на том, чтобы включить в книгу «Видение». Оно было все еще популярно и могло повисить коммерческий интерес к изданию. Но Батюшков отказался, и в этой фразе весь он: «Глинка умирает с голоду; Мерзляков мне приятель или то, что мы зовем приятелем; Шаликов в нужде; Языков питается пылью, а ты хочешь, чтобы я их дурачил перед светом. Нет, лучше умереть! Лишняя тысяча меня не обогатит».

Текст «Видения» Батюшков переслал Гнедичу как только закончил. Он не собирался его печатать, более того, просил Гнедича никому, кроме своих, не показывать и не открывать без надобности имени автора. Но Гнедич распространил сатиру так, что она вышла за круг Оленина и даже дошла до Москвы, где зимой 1810 года ее с изумлением обнаружил уже сам Константин Николаевич. Это была настоящая слава. Надо полагать, в глубине души Батюшков рассчитывал на нее. Но одно дело заочно высмеять известных писателей — и совсем другое смотреть им в глаза. Для человека миролюбивого и незлого, каким Константин Николаевич оставался до болезни, скандальная слава была непривычна. Он был польщен, возбужден, окрылен — но все-таки чувствовал себя *не в своей тарелке*. «Даже до того дошло, — пишет он Гнедичу, — что несколько ночей не спал, размышляя, что-де я наделал».

Всю осень Батюшков будет гадать, как отозвалось его слово в столицах: не спать, ждть писем, загадывать, переживать. Однако его «внутренний человек» будет занят другими мыслями. Из Петербурга в Хантаново Батюшков привезет только что отпечатанное собрание сочинений Державина и словно заново откроет знаменитого поэта. Четыре тома стихов, многие из которых были впервые за много лет переизданы и даже впервые опубликованы, — создавали портрет поэта, чья поэтическая судьба сложилась. Батюшков, как, впрочем, и любой поэт, хотел бы разглядеть ее рисунок. Натерпевшись, как он считал, от судьбы по военной и статской службе, измученный семейными неурядицами — Батюшков находит точку опоры в сочинениях втрое старшего себя классика. Чаше других он открывает третий том — державинскую анакреонтику.

Державин читал Анакреонта в переводах своего друга Николая Львова, который сегодня больше известен как архитектор — автор неповторимых по рисунку и форме усадеб и храмов, большая часть которых, к сожалению, была либо утрачена, либо находится в плачевном состоянии. Державину Львов построил роскошную усадьбу на Фонтанке — ныне музей — практически напротив малоприметного дома Олениных, составив тем самым вполне символичную пару. В этой усадьбе собиралось литературное общество архаистов — знаменитая Беседа любителей русского слова, для которой Львов предусмотрел в доме парадную залу с колоннами под мрамор и даже маленький театр. К изданию собственных переводов из Анакреонта Львов написал предисловие, в котором объяснял, почему именно Анакреонт отвечает эстетическим и философским запросам своего времени. Львов был убежден, что Анакреонт создавал свои стихи, руководствуясь исключительно «действительным убеждением сердца». Между Анакреонтом и его читателями, считал Львов, устанавливалась «какая-то взаимная доверенность, знакомство, хотя не личное, но такое, по которому можешь себе иногда сказать: он этого бы не подумал, или он бы в сем случае так

бы не поступил». Через Державина, который усвоил эту связь в своей анакреонтике, оставался только один шаг до Батюшкова, полагавшего этот принции универсальным для поэта вообще. «Живи как пишешь, и пиши как живешь», — как бы перефразировал Батюшков Львова.

Как некогда Анакреонт «спас» Горация, как он «спас» разочарованного хождением во власть Державина — теперь через Державина он «спасал» самого Батюшкова. Подобно Державину, Батюшков отказывался «искать удачи» у сильных мира сего и удалялся в деревню, к своему «внутреннему человеку». Через Анакреонта — Тибулла — Парни — Державина — он изживал иллюзию, которая была (и остается) свойственной любому поэтическому поколению: о царях, с интересом внимающих поэтам, и поэтах, с улыбкой истину глаголящих царям. Державин, полжизни певший о человечности Фелицы и пороках ее вельмож, одним из первых перестал быть «больше, чем поэтом». Опыт его душевного кризиса стал бесценным. В ту осень Батюшков спасался смехом («Видение») — и домашней, анакреонтической державинской музыкой.

«Тишина, безмолвие ночи, сильное устремление мыслей, пораженное воображение — все это произвело чудесное действие. Я вдруг увидел перед собою людей, толпу людей, свечи, апельсины, бриллианты, царицу, Потемкина, рыб и бог знает чего не увидел: так был поражен мною прочитанным. Вне себя побежал к сестре. „Что с тобой?“ — „Оно, они!..“ — „Перекрестись, голубчик!..“ Тут-то я насилу опомнился».

Так Батюшков описывает один из вечеров в Хантанове. Можно представить себе, наверное, этот вечер: поздняя осень, время после ужина, за окнами тьма. Он открывает двери к сестре, входит с книгой. Говорит, говорит, говорит. А когда видит, что сестра напугана, захлопывает томик. Он выходит на крыльцо и закуривает, но картины все равно стоят перед глазами. Наверху все отчетливей шумят липы. Дождь или первый снег, мокрое лицо. В отвсетах из окна чернеет голый розовый куст, и нет ему никакого дела до Екатерины и Державина. Батюшков возвращается, он ставит промокшую обувь к печке. Еще несколько времени скрипят половицы, потом свеча, взмахнув тенями, гаснет.

Это было «Описание торжества, бывшего по случаю взятия города Измаила в доме генерал-фельдмаршала князя Потемкина-Таврического...». В нем не было ничего «анакреонтического», однако была батюшковская «оптика». Державинский мир был точно таким же выпуклым, материальным, вещным. Не Карамзин с его отвлеченной философией сентиментального — а конкретные образы деревенской жизни Державина утвердят Батюшкова в его «поэтической мысли». Он подхватит и продолжит позднего Державина, однако язык, которым Державин заговорит у Батюшкова, будет с карамзинским «акцентом», и «внутренний человек» будет карамзинским тоже.

Державин и Карамзин будут *что и как* поэзии Батюшкова.

Как сказал бы Шишков, они составят *дифферент*, который придаст ей наилучшее движение.

